

№

Ам

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО •
• ВЕДЕНИЕ



2000



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения

Славяноведение



ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

2000

СЕНТЯБРЬ •

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ОКТАБРЬ •

Содержание

СТАТЬИ

<i>Дыбо В.А.</i> (Москва). Владислав Маркович Иллич-Свитыч как компаративист	3
<i>Стыкалин А.С.</i> (Москва). Т.Г. Масарик и русская литература. По страницам "Бесед с Масариком" К. Чалека	20
<i>Гришина Р.П.</i> (Москва). Коминтерн, РКП(б) и курс Болгарской коммунистической партии на подготовку нового вооруженного восстания в первой половине 1924 года: По материалам российских архивов	29
<i>Серапионова Е.П.</i> (Москва). Чешские земли, чехи и немецкий вопрос (1918–1945 годы) ...	43
<i>Мальцев Л.А.</i> (Москва). Роман Г. Херлинга-Грудзиньского "Иной мир" в контексте русской прозы	53
<i>Бланар В.</i> (Братислава). Идеино-философские и методологические основы лингвистических трудов Антона Бернолака	66
<i>Шатуновский Г.И.</i> (Москва). Некоторые особенности употребления неопределенных местоимений в болгарском и русском языках (сравнительный анализ)	80
<i>Яклова А.</i> (Чешске-Будевеице). Развитие понятия <i>сленг</i> в чешской лингвистике	86

СООБЩЕНИЯ

<i>Аксенова Е.П.</i> (Москва). Г.В. Флоровский о славянской идее	93
<i>Левин-Штайнманн А.</i> (Лейпциг). Вопрос о понятии "фразеологическая ошибка (<i>błąd frazeologiczny</i>)" и возможности его применения (на примере фразеологизмов в польской прессе)	101

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Васильев М.А.</i> В.В. Седов. Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование	109
<i>Милякова Л.Б.</i> E. Kowalska. <i>Przeżyć, aby wrócić! Polscy zesłańcy lat 1940–1941 w ZSRR i ich losy do roku 1946</i>	116

<i>Людоговский Ф. Г. Коробьин, Н. Михайлова. Исправление богослужебных книг. Исторический обзор за период с XV до начала XX века // Богослужебный язык Русской Церкви: История. Попытки реформации</i>	118
--	-----

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Б.Р. Чтения памяти Владислава Марковича Иллич-Свитыча (К 65-летию со дня рождения)</i>	123
---	-----

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ю.С. НОВОПАШИН (главный редактор), **А.В. БОЛДОВ** (отв. секретарь),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, **Г.К. ВЕНЕДИКТОВ**, **В.К. ВОЛКОВ**, **Р.П. ГРИШИНА**,
А.А. ГУГНИН, **В.И. КОСИК**, **Г.Ф. МАТВЕЕВ**, **Г.П. МЕЛЬНИКОВ**,
В.В. МОЧАЛОВА, **С.В. НИКОЛЬСКИЙ**, **В.Я. ПЕТРУХИН**,
М.А. РОБИНСОН (первый зам. главного редактора),
Л.А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), **Б.Н. ФЛОРЯ**,
В.А. ХОРЕВ, **Т.В. ЦИВЬЯН** (зам. главного редактора)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),
Васильев М.А. (отдел истории)

Зав. редакцией *И.И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Веслова И.Ю., Кошкина Е.А.*

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32 а
Телефон 938-01-20
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru



© 2000 ДЫБО В.А.

ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ
КАК КОМПАРАТИВИСТ*

12 сентября 1999 г. исполнилось бы 65 лет В.М. Иллич-Свитычу (1934 –1966), замечательному ученому, которого по праву можно считать крупнейшим лингвистом-компаративистом XX столетия. В краткой статье, конечно, невозможно даже бегло обозреть результаты его научной работы в области сравнительно-исторического языкознания, которая была трагически прервана, когда ему не исполнилось и 32 лет. Ещё труднее показать значимость их для компаративистики в настоящее время, когда результаты его исследований, идеи и методы, выдвинутые им или непосредственно связанные с результатами его исследований, всё в большей степени пробивают себе путь в мировой компаративистике, на наших глазах меняя фактически её научную парадигму. Поэтому я коснусь лишь очень кратко двух направлений, в которых Владиславом Марковичем были получены самые значительные результаты. Это балто-славянская сравнительно-историческая акцентология (или, точнее, индоевропейская акцентология, так как результаты его исследований ввели балтославянский материал в индоевропейистику как равноправный и послужили толчком к глобальному пересмотру индоевропейской просодии) и проблема отдалённого родства языковых семей – в этом направлении им было осуществлено построение сравнительной грамматики ностратических языковых семей (семитохамитской, картвельской, индоевропейской, уральской, алтайской и дравидийской).

В монографии «Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентуационных парадигм» (М., 1963) В.М. Иллич-Свитыч доказал генетическое тождество балтийской и славянской именной акцентуации с индоевропейской акцентуацией имени, реконструируемой на основании показаний древнеиндийского, греческого и германских языков, и сформулировал правила их соответствия. Эта работа определила дальнейшее направление исследований по балтийской и славянской акцентологии, доведя степень достоверности выводов в данной отрасли компаративистики до степени достоверности,

* Дыбо Владимир Антонович — д-р филол. наук, чл.-корр. РАН, академик РАЕН, зав. кафедрой славянского языкознания ФТиПЛ РГГУ.

достигнутой сравнительно-исторической сегментной фонетикой. Непосредственно в области балтославянского сравнения эта работа, установив тождество праславянской а.п. *b* литовской 2 а.п., подтвердила выдвинутое незадолго перед этим предположение о дополнительном распределении двух славянских акцентных парадигм: а.п. *a* и а.п. *b*. Одновременно она поставила перед акцентологией проблему того явления, которое позднее было названо «архаизмом Иллич-Свитыча», или а.п. *d*. В отличие от бывших имен среднего рода неподвижного акцентного типа, которые в славянском регулярно давали имена мужского рода а.п. *b*, а в литовском – имена мужского рода 2 а.п., старые имена мужского рода неподвижного акцентного типа в славянском, как правило, давали а.п. *c*, а в литовском обнаруживали по диалектам колебания между 2 и 4 а.п. Лишь в двух небольших диалектных областях (чакавские диалекты северо-восточной Истрии и о. Суска и галицкий украинский диалект в основном по материалам, опубликованным Ганушем [1]) В.М. Иллич-Свитычем были обнаружены следы особой смешанной акцентной парадигмы, которая по основным своим параметрам была близка к а.п. *b*. Указав на периферийный характер диалектов, В.М. Иллич-Свитыч выдвинул предположение о том, что именно эта смешанная парадигма была первичным рефлексом старого неподвижного типа *o*-основ мужского рода. В настоящее время это положение подтверждено новыми материалами всех трёх славянских языковых групп, а тип рефлексии а.п. *d* в славянских диалектах является одним из признаков праславянского диалектного членения.

В.М. Иллич-Свитыч явился фактическим создателем новой отрасли языкознания – сравнительной грамматики ностратических языков (основной труд: «Опыт сравнения ностратических языков». [т. I, II, III.], М., 1971, 1976, 1984. Далее - Опыт). Проблема отдалённого родства ряда языковых семей Старого Света: индоевропейской, семито-хамитской (афразийской), картвельской, уральской, алтайской и дравидийской, – занимала многих исследователей. Да и сама идея глобального сравнения нескольких языковых семей была выдвинута ещё в 1903 г. Х. Педерсеном. И всё же заслуга создания сравнительной грамматики ностратических языков принадлежит В.М. Иллич-Свитычу. Дело даже не в количестве материала, который он учёл (этот материал был значителен и до него и всё время увеличивается) и не в подробностях и точности разработки сравнений (в этом плане В.М. Иллич-Свитыч, конечно, создал нечто уникальное, но и эта точность и детализация уже становятся недостаточными и, безусловно, будут значительно превзойдены в ближайшем будущем). Заслуга В.М. Иллич-Свитыча заключается прежде всего в том, что ему удалось обнаружить в сравниваемом ностратическом материале ряд нетривиальных соответствий, то есть таких, проявление которых в одной языковой семье объясняется лишь в результате извлечения информации о характере их окружения в этимологически связанных рядах морфем в других родственных семьях. Так расщепление индоевропейских гуттуральных (*k*-образных фонем) на три ряда (велярные – *k, g, gh*; лабиовелярные – *kʷ, gʷ, ghʷ*; палатальные – *ĵ, ĝ, ĝh*) получает объяснение в результате их дополнительного распределения по отношению к уральскому или алтайскому вокализму, лучше отражающему общеностратический вокализм [2]. Можно привести ещё множество такого рода соответствий. Именно такие соответствия являются основой любой сравнительно-исторической грамматики, решающим аргументом её необходимости. Не случайно тезисы доклада В.М. Иллич-Свитыча о генезисе индоевропейских рядов гуттуральных получили восторженную оценку Б. Коллиндера, который писал: «Исследование Иллич-Свитыча ... означает решающий успех в области индоевропейско-урало-алтайского языкового сравнения Могут возразить, что число опорных этимологических сопоставлений недостаточно для того, чтобы они имели полную доказательную силу. Но в ответ скептикам мы можем воскликнуть вместе с Орестом: "Советую тебе: не слишком люби солнце и звёзды; спустись вслед за мною в тёмное царство"» [3].

Важность этой работы В.М. Иллич-Свитыча для сравнительно-исторического языкознания в целом трудно переоценить. В предисловии к своему труду «Опыт сравнения ностратических языков» автор писал: «в... передовых областях компаративистики ... в последнее время обнаружилась определённая переоценка возможностей метода внутренней реконструкции, применение которого без жесткого контроля внешнего сравнения приводит к построению многочисленных одинаково вероятных и в равной степени произвольных протосистем. Подобная ситуация диктует необходимость выхода за рамки одной какой-либо семьи. Лишь внешнее сравнение обеспечивает соответствующий контроль и позволяет выбрать единственный максимально приближающийся к реальности вариант исторической реконструкции из многих принципиально возможных. В этом смысле само существование «ностратического языкознания» оправдывается тем, что оно призвано не только использовать достижения индоевропеистики, уралоистики, алтаистики и т.д., но и само должно во многом способствовать развитию этих разделов компаративистики, так же как, например, индоевропеистика способствует развитию германистики, славистики. иранистики» (т. I, с. 2).

Такая постановка задачи вытекала из того, что ностратическая теория не является по преимуществу концепцией, основная цель которой доказать родство шести больших языковых семей Старого света. В сущности такое доказательство было приведено В.М. Иллич-Свитычем в его первых («предварительных») публикациях: 1. «Материалы к сравнительному словарю ностратических языков»; 2. «Соответствия смычных в ностратических языках»; 3. «Генезис индоевропейских рядов гуттуральных в свете данных внешнего сравнения»; 4. «Реконструкция уральского вокализма в свете данных внешне-го сравнения».

Но важно, что даже первые исследования В.М. Иллич-Свитыча, посвященные собственно доказательству отдаленного родства указанных семей, спровоцировали его к «вторжению» в сравнительно-исторические грамматики этих семей. Это вызывалось необходимостью выбора между альтернативными решениями, предлагавшимися в рамках этих сравнительно-исторических грамматик, даже в тех случаях, если эти альтернативы более поздними исследователями были отклонены или не учитывались. Так было в случае с алтайским языкознанием, когда внешние соответствия потребовали возвращения к концепции З. Гомбоца в области алтайского консонантизма [4] и после тщательно проведенного внутриалтайского сравнения – к реконструкции трех рядов смычных. З. Гомбоц восстанавливал в алтайском троичное противопоставление дентальных: **t* (тюрк. **t*, монг. **t*, тунг. **t*) – **d* (тюрк. **t*, монг. **d*, тунг. **d*) – **δ* (тюрк. **j*, монг. **d*, тунг. **d*). Эта концепция, которую в начале принимал и Н.Н. Поппе [5], в дальнейшем была отклонена, точнее, молчаливо забыта, так как фактически никакого строгого сопоставлений З. Гомбоца не было проведено. Этому в значительной степени способствовало, по-видимому, то, что ни в одной группе алтайских языков не находили отражения постулируемого троичного противопоставления дентальных¹: и З. Гомбоц и Н.Н. Поппе специально подчеркивали, что огузский *d*, возникший, по их мнению, вторично из тюрк. **t*, не имеет непосредственной связи с алт. **d*². Исследуя алтайские соответствия ностратическим языкам с тремя рядами смычных В.М. Иллич-Свитыч столкнулся со следующим распределением:

¹ Следует заметить, что хотя подобная ситуация складывается в сравнительном языкознании не редко (ср. три ряда гуттуральных в индоевропейском или три ряда сибилантных спирантов и аффрикат в картвельском), однако она как правило вызывает сомнение у компаративистов и повторяющиеся попытки доказать вторичность «дополнительного» члена.

² Характерно, что связь огузского *d* с алт. **d* впервые была замечена сторонником языкового моногенеза А. Тромбетти в его разборе примеров З. Гомбоца ([6]).

Ностр. *t-*

1. алт. **t'arλ* 'ощупывать, смазывать' (эвенк. *tapara* 'пачкаться', *tapka* 'запачкать'; сред.-уйгур. *tap* 'пятно', *tapča* 'грязь'): и.-е. *tep-* 'смазывать, макать' (арм. *latavem* 'макаю', лит. *tepti* 'смазывать'), с.-х. **tʀ-* 'обмазывать, пачкать' (араб. *tuṣāl* 'сухая глина', др.-евр. *ṭpl* 'пачкать', евр.-арам. *ṭpl* 'обмазывать'; беджа *dif* 'красить', хауса *ta'ba* 'касаться');
2. алт. **t'ä* или **t'é* 'этот, тот' (нанайск. *tāi* 'этот', могол. *te* 'тот', монг. *tere* 'тот'): и.-е. **to-* 'этот' (др.-инд. пом.-асс. sg. n. *tad*, асс. sg. m. *tam*, асс. sg. f. *tām*, греч. *tó, tón, tήν*);
3. алт. **t'apa-* 'попадать, находить, отгадывать' (эвенк. *tawa-* 'попадать, зацепиться', монг. *taya-* 'отгадывать', туркм. *tap-* 'находить, отгадывать'): и.-е. **top-* 'попадать куда-либо, назначенное место, отгадывать' (греч. *tóπος* 'место', *τοπάζω* 'отгадываю', лтш. *tap* 'становиться, случаться, попадать куда-л.');
4. алт. **t'āl* или **t'él* 'молодое животное – подсосок, сосущее, кроме матери, у другой самки' (монг. *tel*, кирг. *tel*, якут. *tīl*): и.-е. **teHl-* 'молодое животное, растение' (греч. *τήλις* f. 'созревшая девушка, невеста', ион. *τήλις* f. 'росток стручковых', лат. *tālia* 'стручок'); с.-х. *!l* 'рождать, молодое животное' (араб. *tall* 'детеныш овцы, козы, газели и т.п.', др.-евр. *ṭāleḥ* 'ягненок', галла *ḏal* 'рождать'; чад.: муби *dāl* 'класть яйца');
5. алт. **t'any-* 'знать, узнавать' (монг. *tani-*, туркм. *tany-*): и.-е. **tong-*, **tenk-* 'знать, узнавать, замечать' (лат. *tongēō* 'знаю', др.-исл. *þekkja* 'замечать, понимать, знать', лтш. курон. *teĩcināt* 'выспрашивать');
6. алт. **t'ür* 'быстрый, быстро двигаться' (эвенк. *turgān* 'быстрый', монг. *tür* 'быстро, сразу', уйгур. *türčä* 'быстро, сразу'): и.-е. **tʷer-* 'быстрый, быстро двигаться' (др.-инд. *tváratē* 'спешит', *turá-* 'быстрый', др.-исл. *þurja* 'бежать, мчаться');
7. алт. **t'λ* 'ты', косв. **t'yn-* (монг. *či*, gen. *činu*, могол. *či, činai*): и.-е. **tū*, косв. падежи **te-* 'ты' (лат. *tū*, dat. *tibi*, ст.-слав. *Ты*, асс. *ТА*);
8. алт. **t'i-* 'вошь' (эвенк. *tīlā-* 'искать вшей', ульч. *tiktā* 'вошь'): картв. **tiz-* 'вошь' (груз. *tīl*, сван. *tīš*);
9. алт. **t'anu-* 'тянуть, натягивать' (эвенк. *tān-* 'вытягивать, натягивать', удейск. *tan-* 'стянуть, тащить', монг. *tanu-* 'затягивать узел'): и.-е. **ten-*, **tend-* 'натягивать, тянуть' (др.-инд. *tanōti*, лат. *tendō*);
10. алт. **t'anλ* 'рубить, резать' (монг. *tanu-* 'обрубать', маньчж. *tanta-* 'бить, колотить'): и.-е. **ten-* 'рубить, бить' (лит. *tinti, tinū* 'острить косу', словен. *téti, inēm* 'колоть, рубить');
11. алт. */*t'äp/p-* 'гореть' (маньчж. *tefe-*): с.-х. *tʀ-* (*||dp*), картв. *ṭap/ṭab-* (грузин. *tb-* 'греть(ся)', др.-грузин. *dga da ṭreboda* 'стоял и грелся'; мегрел. *ṭəb-, ṭib-*; чан. *ṭub-, ṭib-*; сван. *ṭb-id-*; грузин. *ṭbil-* 'тёплый'; мегрел. *ṭəbu-, ṭibu*, чан. *ṭibu-, ṭubu-*; сван. *ṭebid-, ṭebedi-, ṭebdi-* 'тёплый'), и.-е. *tep-*;
12. алт. **t'ülā* (монг. *tüle-* 'зажигать огонь, растапливать печь', монгол. *tulīē-* 'жечь'): картв. *ṭwar-* (сван. *ṭwr-* 'зажигать свечку');
13. алт. **t'oλ* 'пыль, земля' (туркм. *tōz* 'пыль', эвенк. *tur* 'земля'): картв. *m-ṭwer/l-* 'пыль, пылинка' (грузин. *mṭwer-* 'пыль, пылинка'; мегрел. *ṭwer-*, чан. *mṭwer-* 'пыль, зола'; сван. *ṭwi-* 'земля' < **ṭwil*);
14. алт. **t'āla* 'равнина, плоский' (эвенк. *tallama* 'равнина', монг. *tala* 'равнина', др.-тюрк. *tala* 'степь'); и.-е. *telH-* 'плоское место, плоский' (др.-инд. *talam* 'равнина, подошва', греч. *τήλί* 'доска', лит. *tiltas* 'мост');
15. алт. **t'örä-* 'рождать' (монг. *töre-* 'рождать', др.-уйг. *törü-* 'рождаться, возникать'): и.-е. *tʷer-* (слав. *ivoriti*, балт. *turėti* 'иметь').

Ностр. *t*

1. алт. **däg*(*λ*) 'трогать, касаться' (азерб. *däj*, туркм. *deg*, тув. *deg*, монг. *dege* 'зацепляться') Г и.-е. *deg* 'трогать' (гот. *tēkan*);
2. алт. **del* 'раскалывать, дырывать' (эвенк. *delki* 'раскалывать', монг. *delberkei* 'трещина, расколотый', турецк. *deş*, азерб. *deş* 'дырывать, прокалывать'): с.-х. *tl* 'тесать, протыкать' (беджа *tela* 'протыкать', чад.: марги *tl̥i/tl̥á* 'тесать', *tl̥á* 'резать'), картв. *tal* 'тесать, строгать' (груз. *tl-/tal*, мегрел. *tol*), и.-е. *del* 'обтёсывать, расщеплять' (др.-инд. *dālāyati* 'расщепляет', греч. *δαίδαλος* 'искусственно обработанный', лат. *dolō* 'обтёсываю');
3. алт. **daβl* 'ветер, пар' (туркм. *davil* 'непогода', эвенк. *daw* 'попасть под дождь': картв. [*tūr*]);
4. алт. **dāl* 'растягивать'; **tāl* 'растянутый, широкий' (монг. *delge* 'раскладывать, развертывать, расстилать', *delger* 'полный, обильный, обширный, широкий'; орочк. *dele* 'открытое место', маньчжур. *deležen* 'пустырь, открытое место', *delfin* 'широкий, просторный – об одежде'): с.-х. *tlh* 'длинный' (семит.: араб. *tlh* 'быть длинным', *talih* 'длинная – о шее'), и.-е. *delH* (др.-инд. *dīrghás* 'длинный', ц.-слав. *дѣлѣти* 'удлинять');
5. алт. **dē* 'сказать' (азерб. *de*, туркм. *dī*, якут. *diä*): картв. *txew* (грузин. *txow* 'просить, жениться'; мегрел. *tx(w)*; чан. *tx(w)*), и.-е. /*d/eh̥*- (др.-хетт. *praes. 1.sg. te-e-mi*, сред.-хетт. *praet. 3sg. te-e-it* 'торжественно заявлять; говорить, вещать'; слав. inf. **děti*, 1.sg. *praes. *děmь* 'говорю': др.-русск. *дѣши* (Ип.л. 6658 г.), *дѣкъть*, *дѣемь*, *дѣжть* (Изб. 1073г.), ст.-слав. *praes. 2.sg. дѣши* (Супр. 303₂₃), *дѣкъши ли* (Супр. 402₃), *дѣѣши* (Супр. 306₂₉), схрв. диал. *diti*, 1.sg. *praes. dīm* 'говорить' [RJA II, 454–455], чак. [Раб] *praes. 1.sg. dīn*, 2.pl. *dīste*, ст.-хорв. *praes. 1.sg. Дѣм*, 2.sg. *Дѣш*, 3.sg. *Дѣ* [Гр. 119], чеш. *diti*, *praes. dīm*, *dí*, ст.-чеш. *dieti*, *dietm* 'говорить, сказать', др.-польск. *dzie* 'inquit');
6. алт. **dala* 'махать, порхать' (ср.-монг. *dala* 'махать', ср.-тюрк. Кашгари *talbun* 'порхать', тув. *dalbaj* 'расправляться – о крыльях'): с.-х. *tl* 'качать, трясти, свисать' (араб. *tl̥l* 'трясти, качать', др.-евр. *tālālīm* pl. 'локоны'), и.-е. *del* 'шататься, качаться, свисать' (др.-инд. *dulā* f. 'качающаяся', др.-исл. *tolla* 'свисать качаясь');
7. алт. **dā* 'давать, передаваться' (эвенк. *dā* 'передать мясо медведя родственникам', *dāw* 'передаваться – о болезни', кор. *tāgo* 'дай мне'; см. SKE 247-248); и.-е. *deh^h* 'давать' (греч. *δίδομι* 'даю', лит. *duoti* 'давать');
8. алт. **dały* 'тащить, переносить' (туркм. *daşy* 'переносить, перевозить', тувин. *dažy* 'тащить'): картв. *tar/ter* 'тащить' (грузин. *tr/ter* 'тащить'; мегрел. (*n*)*tər*, (*n*)*tir*; чан. *tir*, *tor*, *tur*; сван. *tr/tir*).

Ностр. *d*

1. алт. **duli* 'греть, теплый' (тюрк. **jyly*, **jyly-γ*: тувин. *čylyg*, карагас. *čeleg* 'тёплый', якут. *sylyj* 'согреваться', др.-уйгур. *jyly* 'согреться – о воде', *jylyγ* 'тёплый'; монг. **dula-gan* 'тёплый': монг. письм. *dulaŋan*, калмыцк. *dulān*. Тунг.: эвенкийск. *dulil* 'пригревать'; эвен. *dul* 'греть (о солнце)', *dulan* 'тёплый'): с.-х. *dlk* 'жечь, гореть' (др.-еврейск. *dlk*, арамейск. *dlk*);
2. алт. **dūṅā* 'сидеть спокойно, молчать' (монг. письм. *dūṅ-sū-ji*, халха *dūṅsij*, калмыцк. *dūṅgē* 'молчать, быть задумчивым' < **dūṅge-ji*; тунг.: нанайск. *dungum* 'смирно, не шевелясь', : с.-х. *d(w)m* 'быть спокойным, молчать' (семит. **dwm* (и вторичное *dm*): араб. *dwm*, impf. *-dūtu* 'длиться, не изменяться, быть спокойным'; юж.-араб. (сокотри) *dete* 'спать'; еврейско-арамейск. *dmk* 'спать', мандейск. *dwm/dmm* 'быть спокойным'; угарит. *dm* 'пребывать, оставаться' ← 'спокойно стоять', др.-еврейск. *dūmā* 'молчание', *dmm* 'застыть (в испуге), молчать, вести себя тихо'; кушит. 'молчать': беджа *dum*, *dim*; куара *zet j*, кемант *zīm j* (конструкция с вспомогательным глаголом, ср. кемант *zīmī* 'тишина); сидамо *sammi j*); картв. *dum*- (грузин. *dum*- 'молчать');

3. алт. **dā* 'тоже, же, и' (тюрк.: тувин., карагас. *-dā/-tā*, якут. *da*, др.-уйгур. *-da/-dā* и *-ta/-tā*, туркм. *-da/-de*; монг. письм. *-da/-de*, халха *dā/dē*; тунг.: нанайск. *da*, эвен. *dā*; корейск. *-to/-do*): с.-х. *d(H)* 'тоже' (бербер.: др.-ливийск. *d* 'и, вместе с', туарег., шельха и др. *d* 'и, вместе с' (ср. шельха *tamgart d-urgaz* 'жена и муж'); кушит.: беджа *-t*, билин, дембья, каура *-dī* 'вместе с' (постпозиция); сомали *-dā*, усилительная частица; чад.: ангас *da* 'тоже'); картв. соединит. союз: грузин. *da* 'и', чан., мегрел. *do* 'и'; и.-е.: слав. *da*, соединит. и усилит. частица (ст.-слав. *да*, схрв. *dā* 'чтобы, да');

4. алт. **daka/δaga* 'близко, приближаться, следовать за кем-либо' (**daka* || тюрк.: др.-уйгур. *jaq* 'приближаться', *jaqun* 'близко', туркм. *jakūn* 'близкий'; сред.-монг. *daqa*, бурят. *daxa*- 'следовать (за кем-либо)' || **daga*- || тюрк. **jaγ(u)*, **jaγuk*: др.-тюрк. *jaγ* 'приставать, передаваться', *jaγuq* 'близкий', тувин. *čök* (< **jaγuk*); др.-уйгур. (Кашгари) *jaγu* 'приближаться', *jaγuk* 'близкий'; туркм. *joyuk*, чуваш. *šuvāx* 'близко'; монг. письм. *daḡa*, ордос., халха *daga*, 'следовать (за кем-либо)'; тунг. **daga*- 'близко': эвенк. *daga*, эвен. *dā-lī*): с.-х. *dk* 'близко' (кушит. **dk* 'находиться) близко': беджа *deha* т. 'близость', билин *taγ*, хамир *taḡ*, *tak*, дембья, кемант *taj*, куара *tē*, авийа *tig*, (Веке) *dig*- (авийа, дамот *digī* 'близкий'), сахо (Ироб) *raḡ*, (Ассаорта) *daḡ*, афар *daḡ*, сомали *ḡow*, галла *ḡih*- 'находиться близко'; ши-наша (Веке) *ḡiqa* 'потом, впоследствии'; чад.: хауса (Кацина) *tak'ak'o* 'приближаться'; ан-кве, герка *duk*, логоне *ḡō(u)*, маса *toḡ*, ? сомрай *ḡingal* 'близко'; исходно, вероятно, чад. **dk* с ассимилятивным оглушением **d* в хауса и маса);

5. алт. **ḡiga*- 'рыба' (сред.-монг. *ḡiḡasun*, монг. письм. *ḡiḡasun*, ордос. *ḡagus*, халха *ḡagās*, калмыцк. *zayāsḡ*): с.-х. *d(j)g* 'рыба' (угарит. *dg* coll. 'рыбы', др.-еврейск. т. *dāḡ*, f. *dāḡā*); и.-е. *dhḡh-u-H* 'рыба' (греч. *ἰχθύς*);

6. алт. **ḡila* 'солнце, солнечный год' (тюрк. **jyl* 'год'← 'солнечный цикл': др.-тюрк., др.-уйгур. *jyl*, якут. *syl*, туркмен. *jyl*; эвенк. *dila-čā* 'солнце'; картв. *dila* 'утро' (грузин. *dila* 'утро'); и.-е. *dhel*- 'солнце, светлый' (армян. *deḡin* 'желтый, бледный'; албан. гег. *diell*, *dill* т. 'солнце'; сред.-ирланд. *dellrad* 'блеск'; др.-исланд. *Dellingr* - отец бога дня, сред.-верх.-нем. *ge-telle* 'красивый, милый');

7. алт. **ḡā/lu-ḡōli*- 'волна' (монг. **dalai* 'море': сред.-монг., монг. письм. *dalai*, халха *dalāi*, тунг.: нанайск., ульч. *dalan* 'наводнение'): с.-х. *dlh* 'волноваться, мутить' (семит. **dlh*: тигринья *dlhḡ* 'смешивать'; др.-еврейск. *dlh* 'волновать, мутить воду'; аккад. *dlh*, праэт. *-dluh* 'волновать (воду); беспокоить, смущать', *dlhḡu* 'грязь' ← 'муть'; бербер. *dālāḡ*, аог. *-ddālāḡ* 'быть взмученной – о воде'); и.-е. *dhelH*- с суфф. 'море' (греч. *θάλασσα*, аттич. *θάλαττα* f. 'море' < **dhḡ-tja* < **dhḡH*-; македон. (Гесихий) *δαλάγγαν* асс. 'море');

8. алт. **ḡEbi* 'махать, дуть' (монг. письм. *debi*, халха *dewē*- 'веять зерно; махать (крыльями)'; эвен. *dāwū* 'вихрь, ураган, ветер', *dāwū*- 'витья, крутить'): и.-е. *dheuH*- 'колебать, сотрясать, дуть' (др.-инд. *dhū-nō-ti* 'сотрясает', part. *dhūtás*; армян. *de-dev-im* 'качаюсь'; греч. *θύω*, аог. *ēthōsa* 'дымлю, сжигаю жертву'; др.-исл. *dýja* 'трясти'; схрв. *dūti* 'дуть'; тохар. А *twe*, В *tweye* 'пыль'; и.-е. **dheuH*- 'колебать воздух' → 'дуть' и производные, в том числе широко представленное **dhuH-mo*- 'дым').

Две группы соответствий хорошо согласовались с «классической» алтайской реконструкцией Рамстеда—Поппе (группы с начальными ностратическими *t* и *d*). Но группа соответствий с ностратическим *t* явно указывала на алтайский материал, объединяемый рядом алт. **d*- (тюрк. **t*, монг. **d*, тунг. **d*.) З. Гомбоца. Замечательным образом именно в этой группе огузские соответствия довольно последовательно давали *d*-. Это побудило В.М. Иллич-Свитыча специально заняться проблемой огузских звонких. Заметим, что от решения этой проблемы ни ностратическое сравнение, ни алтайская реконструкция никак не зависят. Это довольно «чистый» случай, когда внешнее сравнение определило направление поиска в сравнительной фонетике одной из сравниваемых семей и привело к

важным результатам. Историческое исследование огузской дихотомии *t*- и *d*- показало её значительную древность (она отражена в Лейденской рукописи словаря 1245 г. и в материалах Ибн-Муханны начала XIV в.), она в значительной степени совпадает с аналогичной тувинско-карагасской дихотомией, наконец, исследуя заимствования из булгарского языка в венгерский и в пермский (не позднее VIII века), В.М. Иллич-Свитыч убедительно показал наличие в древности этой дихотомии и в булгарской группе. Это привело к необходимости реконструкции соответствующей дихотомии и для праторкского, что было подтверждено и алтайским сравнением [7]. Аналогичное исследование было проведено В.М. Иллич-Свитычем и в области алтайских гуттуральных [8]. Эти результаты В.М. Иллич-Свитыча сейчас прочно вошли в алтаистику. И хотя сохраняются определенные неясности в области начального консонантизма, они относятся к разному понижанию позиций нейтрализации установленных В.М. Иллич-Свитычем противопоставлений.

Похожая ситуация сложилась и в уральском языкознании, где соперничали две концепции уральского вокализма: концепция Э. Итконена и концепция В. Штейница. Реконструкция Б. Коллиндера, в сущности, была вариантом реконструкции Э. Итконена, отличаясь от последней лишь трактовкой ряда соответствий, в которых Б. Коллиндер усматривал рефлексию особой уральской фонемы *δ*. Проблема последнего ряда, как мы увидим в дальнейшем, будет занимать В.М. Иллич-Свитыча в ходе всей его работы над «Опытом сравнения ностратических языков». Внешнее сравнение явно подтвердило реконструкцию Э. Итконена, о чем В.М. Иллич-Свитыч сообщил в указанных выше кратких тезисах «Реконструкция уральского вокализма в свете данных внешнего сравнения» (Вопросы финно-угорского языкознания, вып. IV, Ижевск, 1967). К сожалению, 38 сближений на 7 фонем, представленные в этой статье, не могут в полной мере характеризовать ни степень доказательности проведённого сравнения, ни уровень его обработки. Чтобы хотя бы немного прояснить указанные моменты, отмечу только, что подготовительные материалы автора по уральскому вокализму содержат 260 урало-алтайско-дравидийских сближений, из них на гласный *a* – 50, *o* – 39, *u* – 35, *ä* – 20, *e* – 31, *i* – 33, *ï* – 18, случаев с осложнениями в рефлексии – 16. Исследователь, знакомый с материалами по уральскому вокализму, легко представит себе степень полноты такой проверки.

Такое «широкомасштабное» вторжение в компаративные грамматики сравниваемых семей уже на этапе доказательства родства было вызвано тем, что В.М. Иллич-Свитыч не сводил ностратическую теорию лишь к доказательству родства шести больших языковых семей Старого света, а ставил задачу построения сравнительно-исторического ностратического языкознания, сравнительно-исторической фонетики, морфологии и словообразования ностратических языков. Доказательство же родства языков данной макросемьи рассматривалось им как производное от решения этой основной задачи. Естественно, что построение ностратического сравнительно-исторического языкознания требовало тщательной проверки вводимых в сравнение материалов, проверки точности и надёжности реконструкций в каждой из вводимых в сравнение языковых семей.

Мне уже приходилось писать, что в этимологии каждой группы родственных языков существует тенденция превратить корпус предложенных этимологических решений в замкнутую систему, при помощи которой можно было бы решать все этимологические задачи, возникающие в процессе изучения языков этой группы. Такая тенденция вполне правомерна, и отказ от неё был бы равнозначен отказу от одного из основных принципов этимологизации. Однако при отсутствии жесткого контроля со стороны внешнего сравнения эта тенденция приводит к положению, при котором в компаративистиках с развитыми этимологиями корпус этимологических предположений оказывается перегруженным версиями с весьма незначительной степенью вероятности. Характерным приме-

ром является индоевропейская этимология, в которой мы встречаемся с весьма значительным и всё увеличивающимся количеством таких версий. Особенно это относится к массе корневых этимологий с недостаточными словообразовательными, грамматическими и семантическими мотивировками. Поэтому, например, для введения в ностратическое сравнение индоевропейского материала было совершенно недостаточным обращение к Словарю Ю. Покорного, а требовалась тщательная проверка и этимологическая переработка каждой соответствующей статьи. Обращение к «Опыту...» убеждает, что такая переработка в той или иной степени была В.М. Иллич-Свiticsем произведена. На основании собственного опыта могу утверждать, что такая проверка и переработка для индоевропейского материала необходима не в меньшей степени, чем для любой другой из ностратических дочерних семей.

Как будто стремясь избежать ошибок и крайностей своих коллег-индоевропейцев, этимологи-уралисты как правило избегают корневых этимологий и рискованных в семантическом отношении сопоставлений. В тех же случаях, когда такие сопоставления в ходе сравнительно-исторического исследования появляются, они обычно не допускаются в «респектабельные» этимологические собрания. Этой строгостью, аккуратностью и умеренностью уральская этимология выгодно отличается от индоевропейской. Однако эта умеренность и аккуратность не уберегла уралистику от другой крайности.

Начиная с конца «золотого века» уралистики в ней наблюдается тенденция к упрощению общей картины уральской реконструкции, исключению из неё элементов, недостаточно мотивированных предшественниками, плохо укладываемых в структурные схемы, зачастую без какого-либо более или менее тщательно проведенного сравнительно-исторического исследования. В уральской этимологии эта тенденция сопровождается стремлением к предельному отождествлению этимологической «картины» с «картиной» реконструкции. Чаще всего это выражается в отклонении того или иного сближения лишь из-за несоответствия его в одной какой-либо детали рефлексии сравнительно-фонетическому ожиданию, при том, что уральская фонетическая реконструкция ещё далеко не завершена. Богатую коллекцию таких сравнительно-фонетических пуризмов можно собрать в новом уральском этимологическом словаре Кароля Редей (*Karoly Redei. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest, 1986-1989*), где, например, сближение может быть отклонено из-за несоответствия в рядности.

В.М. Иллич-Свitics с его значительным уже к началу шестидесятых годов опытом сравнительно-исторических и этимологических исследований в области славянских и индоевропейских языков быстро понял как сильные, так и слабые стороны уралистической традиции и определил тот уровень, до которого дошла собственно компаративистская процедура. В качестве основы для ностратического сравнения им была взята классическая финно-угорская реконструкция Э. Сетэлэ и его школы в максимальном объеме. Этот выбор свидетельствует о глубоком понимании автором тактики сравнительно-исторического исследования. Ибо как бы ни были красивы реконструкции, скоррелированные в структурном, фонологическом и типологическом планах, практик-компаративист нуждается в первую очередь в максимально расчленённой сетке рефлексий, какую и давала классическая финно-угорская реконструкция.

Не следует думать, впрочем, что к принятию «классической» реконструкции В.М. Иллич-Свitics побуждали исключительно «тактические» соображения. Чтобы дать некоторое представление о том, насколько подробно была проведена им «внешняя» и «внутренняя» проверка результатов классической компаративистской процедуры, приведу один пример. Вслед за Ю. Тойвоненом В.М. Иллич-Свitics проводит проверку рефлексии аффрикат в саамском и по чисто внутренним соображениям останавливается на варианте с тремя рядами инлаутных аффрикат. В черновике сравнительной фо-

нетики ностратических языков он пишет: «Существование в той же позиции в саамском третьего рефлекса аффрикат – сибилантов делает вероятным предположение, что здесь исходным было троичное противопоставление, аналогичное соответствующему противопоставлению у смычных (геминаты, простые аффрикаты и спирализованные аффрикаты *č, и *č̥)». И далее: «Восстановление для уральского на основании саамских данных троичного противопоставления аффрикат по характеру смычки в интервокальной позиции как будто подтверждается несколькими сравнениями:

Глоттальные аффрикаты	урал. <i>kičča</i> 'маленький' урал. <i>kočča</i> 'плетеная корзина'	~ картв. <i>kuč</i> ~ с.-х. <i>k(w)s</i>
Простые аффрикаты	урал. <i>ručča</i> 'давить, разрушать'	~ с.-х. <i>rs</i>
Звонкие аффрикаты	урал. <i>počka</i> 'бедро' урал. <i>wič</i> 'видеть'	~ с.-х. <i>phd</i> ~ алт. <i>üžä-</i>

И так во всех случаях: когда тонкости классической уральской реконструкции, отличающие её от принятых современных представлений, принимались В.М. Иллич-Свитычем, это происходило не потому, что внешние сравнения в большей или меньшей степени подтверждают их, а потому, что в современной уралистике отсутствует убедительная компаративистская мотивировка для отказа от этих классических результатов.

Конечно, не во всех таких случаях решения В.М. Иллич-Свитыча окончательны. Проблемы аффрикат, латеральных, интервокальных смычных продолжают оставаться крайне сложными, и их решение зависит ещё и от состояния реконструкции сравниваемых праязыков. Однако это означает, что в уральском данная проблематика не может считаться снятой и что остаются возможности решений, альтернативных наиболее часто принимаемой в настоящее время «упрощенной» уральской реконструкции.

Наиболее интересными и перспективными для дальнейших исследований по реконструкции прауральского представляются мне результаты, полученные В.М. Иллич-Свитычем в области уральского вокализма. Исследования в этой области продолжались им до его трагической гибели в августе 1966 г., результаты рассеяны в различных статьях Словаря и крайне лаконичны. Черновики статьи «Долгий *ä* в уральском» и упорядоченные списки сравнений относятся к более раннему времени и не отражают конечных результатов автора, поэтому моя сводка последних является, к сожалению, реконструкцией, и в ней остаются неясности.

Проведя проверку реконструкции уральского вокализма внешним сравнением, В.М. Иллич-Свитыч подтвердил надёжность реконструкции Итконена. Уральская система оказалась наиболее архаичной из всех сравниваемых восточноноратических систем, ср.:

Уральский	Алтайский	Дравидийский	Реконструируемая система
а	а	а	*а
о	о	о/а	*о
у	у	у	*у
ä	ä	а	*ä
е	е	е	*е
і	і	і	*і
ü	ü/ö*	у	*ü

* Раздвоение рефлексов *ü* в алтайском (> *ü/ö*) объяснялось В.М. Иллич-Свитычем как следствие ассимиляторного влияния гласного второго слога.

Эта вокалическая реконструкция относится исключительно к гласным первого слога. Однако внешнее сравнение, в основном урало-алтайское, требовало решения проблемы вокализма второго слога. В алтайском для второго слога основы В.М. Иллич-Свитычем реконструировался тот же набор гласных, который встречался в первом слоге. На поверхностном уровне сравнения он был распределён по ряду гласного первого слога по законам алтайского сингармонизма. Однако работа по алтайской этимологии привела В.М. Иллич-Свитыча к выводу, что строй алтайского праязыка не был изначально сингармоническим, т.е. к реконструкции досингармонического состояния алтайского. Возможность реконструкции такого состояния автор усматривал в наличии в алтайских языках многочисленных сингармонических вариантов, т.е. основ, различающихся исключительно рядностью состава гласных, которые, по его мысли, должны были возникнуть в результате разнонаправленных процессов фонетического выравнивания гласных по ряду в разнорядных основах. В ностратическом словаре имеется несколько таких слов, я в своем Предисловии («Опыт...» Т. I. С. IX) привожу представительную их выборку.

Проблема реконструкции вокализма второго слога основы в уральском специфически трудна. Лишь прибалтийско-финские языки позволяют реконструировать во втором слоге две фонемы: *a (переднерядный вариант – *ä) и *ə (переднерядный вариант – *ə). В остальных же уральских языках второй слог почти полностью утрачен или преобразован. Как показали исследования по истории вокализма первого слога в различных уральских языках, характер утраченного гласного второго слога оказал значительное влияние на рефлексацию гласных первого слога. Однако все исследователи, занимавшиеся историей уральского вокализма до В.М. Иллич-Свитыча, исходили из презумпции наличия во втором слоге в уральском лишь той пары гласных фонем, которая реконструируется на прибалтийско-финском материале. Внешнее же сравнение указало на возможность иного представления, что прибалтийско-финский сохранил лишь незначительные остатки некогда богатого вокализма второго слога, редуцированного и в ряде языковых групп полностью утраченного в ходе самостоятельной истории отдельных уральских языковых групп. О том же свидетельствуют многочисленные нерегулярности в отражении вокализма первого слога, остающиеся даже при учете влияния на него какой-либо из двух реконструированных гласных второго слога, особенно в восточных уральских группах.

Анализ уральских этимологических статей «Опыта сравнения ностратических языков» позволяет утверждать, что В.М. Иллич-Свитыч видел возможности решения проблем уральского исторического вокализма в реконструкции досингармонического состояния прауральского с полным набором гласных вокализма второго слога, тождественным набору гласных вокализма первого слога. На это указывает реконструкция (в дополнение к обычным) основ двух типов:

1. Основы типа *CäCa* и *CeCa*, которые он реконструирует, исходя из наличия в уральском разнорядных вариантов:

1. урал. *säpa* 'желчь': *sapA- (фин. *sapi*) ~ *säpā- (саам. *säppe*, мордов. мокшан. *šäpä*, эрзян. *šepē*);

2. урал. *tälwa* 'зима': *talwA- (фин. *talvi*) ~ *tälwā- (саам. *dalve*, мордов. мокшан. *íalä*, эрзян. *íele*);

3. урал. *äla*, отрицательный глагол: *ala- (вепс. *ala/-al*, лив. *ala/-al*) ~ *älä- (фин. *älä/-äl*, саам. *äle/ale*, мордов. *íla*);

4. урал. *ešA* 'жить': *ašA- (фин. *ase* 'готовить парную баню' ← 'устраиваться', *asu* 'жить, проживать', фин. *ase-tta* caus. 'ставить, класть', *asetä* 'местоположение', вод. *ašē* - в

3.sg. praes. 'оседает, отстаивается (пиво))' ~ *ešl (мордов. мокшан. *ezəm*, эрзян. *ezet* 'место, лавка у стены').

И подобные. Ср. также ряд долготных рефлексов \bar{a} с тем же распределением.

II. Основы типа *CaCo*, которые реконструируются в тех случаях, когда прибалтийскому **a* в первом слоге соответствует **o* в саамском и мордовском:

1. урал. *ато* 'утро': **атл* (фин. *aatu* 'утро', ст.-фин. *aanut*, вепс. *aatu* 'давно', с вторичной долготой) ~ **ома*- (саам. *oames* 'поношенный, старый', *oabmed* 'в старину', мордов. эрзян. *иток* 'давно');

2. урал. *камо* 'горсть, пригоршня': **кама*- (фин. *kahmalo*, вепс. *kahmol*, лив. *kõmal* 'пригоршня из двух ладоней', *h* вторичен, более древняя форма, вероятно, в фин. диал. *kamalo*, эстон. *kamal*) ~ **кота*- (саам. *goabmer* 'пригоршня', мордов. мокшан. *котâr*, эрзян. *коморо* 'полная горсть');

3. урал. *тапо* 'отгадывать, заклинать, говорить': **мана*- (фин. *manaа*, эстон. *mana*, *tõna* 'заклинать, проклинать') ~ **мона*- (саам. *moaná* 'предполагать, отгадывать', вокализм второго слога, по-видимому, вторичен), мордов. мокшан. *тәһа*, эрзян. *туйһа* 'колдовать, ворожить' из мордов. **туна* < **мона*);

4. урал. *тамто* 'дуб': **тамтл* (фин. *tammi*, эстон. *tamm* 'дуб') ~ **томта*- (мордов. *тито*, марийск. горн. *tut*, лугов. *tumä* 'дуб', перм. **типу* 'дуб');

5. урал. *тајо* 'сгибать, складывать, ломать': **тајл* (фин. *tai*: *taimi* 'кривизна', *taipu* 'сгибаться, наклоняться', *taita* 'ломать') ~ **тоја*- (саам. *doaggje* 'складывать, сгибать');

6. урал. *камто* 'крышка': **камте*- (фин. *kansi* 'крышка, переплет') ~ **комта*- (саам. кольск. *guyõnde* 'поверхность', мордов. *kundo* 'крышка').

И подобные. В предисловии к «Опыту...» (С. X – XI) я предложил 14 таких примеров, но их можно представить и больше.

Реконструированное таким образом уральское ауслатное **o* соответствовало алт. **u* и восходило, по мысли В.М. Иллич-Свитыча, к ностратическому *u*. Однако в одной из последних по времени написания статей (т. II, № 315) В.М. Иллич-Свитыч восстанавливает ностр. *nato* 'свойственница' по урал. *nato* 'сестра мужа или жены' с фин. *nato*, характеризующим им как «один из редких случаев сохранения урал. **o* в ауслате». Так как это *o* не отпало и восходило к иному звуку, чем звук, характеризующий предшествующим рядом соответствий (его иной характер подчеркивается тем, что отпадение этого звука вызывало в дравидийском компенсаторную долготу предшествующего слога, ср.: «Долгота в драв. является, по-видимому, результатом редукции широкого гласного 2-го слога (ср. урал. *-o*)»), следующим шагом автора следовало бы ожидать переинтерпретацию предшествующего ряда соответствий как урал. *-u*, однако сделать это он не успел.

С проблемами вокализма второго слога оказались тесно связанными в работах В.М. Иллич-Свитыча и проблемы уральских количеств. Классическая реконструкция долгих гласных в уральском подверглась в последнее десятилетие интенсивной атаке. Однако следует учитывать наличие качественных рефлексов \bar{o} и \bar{e} в различных уральских языках, особенно отчетливых в мордовских, но достаточно хорошо различимых и в пермских. В мордовских * $\bar{e} > \bar{a}$, в отличие от * \bar{e} , дающего **e* (в нередуцированных *a*-основах оба звука дают *-i*), * $\bar{o} > a$ в *e*-основах и **u/o* в мордовских *a*-основах, причем последние рефлексы распределяются просодически: *u* – в нередуцированных, *o* – в редуцированных основах, тогда как урал. * \bar{o} дает в мордовском *-u*- в *a*-основах и *-o*- в *e*-основах, причем последние могут сохранять конечный редуцированный, совпадающий с редуцированным конечным гласным *a*-основ. В пермских урал. * \bar{e} дал **у*, по-видимому, лишь в *e*-основах (урал. * \bar{e} в *a*-основе отражается как перм. * \bar{o}), но регулярный рефлекс уральского * \bar{e} в *e*-основах – перм. * \bar{o} , а в *a*-основах – перм. **o*; урал. * \bar{o} в *e*-основах дает перм. * \bar{e} , а в основах, которые выступают в мордовском в качестве *a*-основ, дает перм. **u*,

совпадающий с **u* < урал. **ö*. Поэтому, пока эти особенности рефлексации не будут убедительно объяснены каким-либо иным способом, классическая реконструкция долгих гласных в уральском остается непоколебленной.

В.М. Иллич-Свитыч в начале работы над уральским вокализмом относился к реконструкции уральских долгот с известной настороженностью, но в дальнейшем принял их реконструкцию, добавив к ней реконструкцию урал. **ā*, который устанавливался им на основе следующих соответствий: прибалт.-фин. *ā* ~ в остальных уральских те же рефлексы, что и у уральского **ä*:

1. 'переходить вброд': фин. *kaalaa* ~ саам. *galle* (< **gälä*), мордов. **kälə*, марийск. *kel*, перм. **kél*, манс. **kāl*, хант. *kül*, южн. *kit*, венгер. *kel* (открытый *e*) 'подниматься, восходить';

2. 'гора, лес': фин. *vaara* ~ саам. *varre* (< **wärä*), манс. **wār/wār* (< **wāra* ?);

3. 'волосы, пух': фин. *naava* ~ саам. *njave* (< **nävā*);

4. 'развилка': фин. *haara* ~ саам. *sarre* (< **šärä*);

5. 'лицо': фин. *naama* ~ саам. *namme* (< **nämä*);

6. 'обычай': фин. *naala* ~ саам. *nalle* (< **nälä*).

Характерной особенностью этой группы является то, что в неё входят исключительно основы на *a* (*ā*). Подавляющее большинство основ с **ē* в первом слоге относится к *e*-основам. Однако имеется одна основа с урал. **ē*, которая является, по-видимому, *ä*-основой:

'сторона, половина': фин. *pieli* (< **pēle*) ~ саам. *bälle*, мордов. **pälə*, марийск. *pel*, *pele*, перм. **pòl*, манс. **pāl*, венгер. *fél*, *fele*.

По-видимому, это обстоятельство и заставляло В.М. Иллич-Свитыча сохранять реконструкцию **ā* и **ē*, а не считать их дополнительно распределенными по типу основы. Уральское состояние рассматривалось им как такое, в котором существовали в виде отдельных фонем *ē* и *ā*, но последняя встречалась лишь в *ä*-основах.

К этому как будто приводили и внешние сравнения, а именно: алтайскому **ā* (и соответствующему драв. **ā*) соответствуют урал. **ā* в *ä*-основах и **ē* в *e*-основах:

Урал. **ā*

1. урал. **kälä* 'идти, бродить': алт. [**kälü*]: драв. *käl* (Опыт I, № 161);

2. урал. **nävā* 'волосы, пух': драв. **näv* или **näv* (Опыт II, № 322);

3. урал. **wärä* 'гора, лес': драв. **vär* (из картотеки).

Урал. **ē*

1. урал. **kēle* 'язык': алт. **kälä* (Опыт I, № 221);

2. урал. **wēre* 'край, берег': драв. *var* 'сторона, бок, край' (DED 358) (из картотеки).

Таким образом, автор, по-видимому, на основании внешних сближений и внутренне-го распределения приходил к выводу, что первоначальный **ā* в уральском в *e*-основах перешел в **ē*, но сохранился в *ä*-основах. Как мы увидим в дальнейшем, аналогичные соображения приводили к решению вопроса о первоначальном уральском **ā*.

В представленном выше сопоставлении и его интерпретации имеется одна слабая сторона: основания для восстановления урал. **ā* совершенно аналогичны тем, на которых строится реконструкция разнорядных слов типа *CäCa*. Если исходить из тождества преобразований, создавших прибалт.-фин. **kāla*, преобразованиям, создавшим прибалт.-фин. **sapa*, то и в первом случае следует восстанавливать гласный второго слога основы **a*. К этому решению, по-видимому, и склонялся В.М. Иллич-Свитыч к концу своей работы.

В наброске незавершенной статьи «Долгий *ā в уральском» В.М. Иллич-Свитыч выдвинул предположение о наличии в уральском наряду с *ō, долгого *ā. Это предположение основывалось на том же ряде соответствий, на основании которого Б. Коллиндер восстанавливал долгое *ō. Однако в дальнейшем В.М. Иллич-Свитыч от него отказался, и в словаре «Опыт...» неоднократно подчеркивается, что *ā- в уральском не было. Имеются, по-видимому, как внутриуральские основания для такого отказа, так и внешне-сравнительные. К первым принадлежит проступающее в материале распределение, которое можно интерпретировать как дополнительное. Те основы, которые образуют ряд соответствий, интерпретированный первоначально как отражающий *ā, по показаниям как прибалтийско-финских, так и саамского являются е-основами, противоречащие показания отсутствуют. Основы же, в которых В.М. Иллич-Свитыч восстанавливал урал. *ō (при распространении в большинстве случаев -е в финском, что характерно вообще для долготных основ) обнаруживают *а в саамском, мордовском, марийском и пермском, что заставляет предполагать в них древние а-основы; ср.:

Уральский *ō в е-основах

значение	фин.	мордов.	марийск.	перм.	манс.	хант.
1. 'жила'	<i>suone-</i>	* <i>san</i>	* <i>šün/sön</i>	* <i>sen</i>	* <i>tēn</i>	* <i>pan</i>
2. 'стрела'	<i>nuole-</i>	* <i>nal</i>	* <i>nölö</i>	* <i>nel</i>	* <i>nel</i>	* <i>nal</i>
3. 'чешуя'	<i>suomi</i>	* <i>šav</i>	* <i>šüm/šö</i> <i>m</i>	* <i>sem</i>	* <i>sēm</i>	* <i>sam</i>
4. 'черемуха'	<i>tuome-</i>	* <i>lam</i>	[<i>lom-bä</i>]	* <i>lem</i>	* <i>lēm</i>	[<i>lôm :läm</i>]
5. 'шерсть'	<i>huosia</i>	—	<i>čüčeš</i>	?	* <i>sēs-</i>	* <i>čač-</i>
6. 'строгать'	<i>vuole-</i>	—	—	* <i>vel</i>	—	—
7. 'кора'	<i>kuore-</i>	* <i>kař</i>	—	—	—	—
8. 'гора'	<i>vuore-</i>	—	—	* <i>ver</i>	—	—
9. 'молодой'	<i>nuore-</i>	—	<i>nör-gä</i>	—	—	—
10. 'путь, ряд'	<i>juone-</i>	* <i>jan</i>	<i>jön</i>	—	—	—

Уральский *ō в а-основах (?)

значение	фин.	мордов.	марийск.	перм.	манс.	хант.
1. 'кишка'	<i>suole-</i>	* <i>šutä</i>	<i>šolo</i>	* <i>šul</i>	—	* <i>sól</i>
2. 'лизать'	<i>nuole-</i>	* <i>nola</i>	<i>nula</i>	* <i>nula-</i>	<i>nal-ant</i>	* <i>nól-/ňäl</i>
3. 'умирать'	<i>kuole-</i>	* <i>kulä</i>	<i>kola-</i>	* <i>kula-</i>	<i>käl</i>	* <i>kól-/käł</i>
4. 'ягода'	<i>puola</i>	—	—	* <i>pul</i>	[* <i>pul</i>]	—
5. 'сторона, половина'	<i>puole-</i>	* <i>pola</i>	—	—	—	—
6. 'морда, лоб'	<i>kuono</i>	* <i>koňa</i>	—	—	—	—
7. 'шест, стропило'	<i>vuole-</i>	—	—	[* <i>yl-</i>]	[* <i>wüla</i>]	* <i>wól</i>

С другой стороны, внешнее сравнение указывало на то, что доуральский *ā перешел в урал. *ō. По-видимому, свидетельство этому содержится в следующих шести примерах, отмечаемых в списке с осложнениями рефлексии вокализма:

1. урал. **kōre* 'кора' : алт. **Kār(λ)* 'кора';
2. урал. **nōra* 'веревка' : драв. **nār* 'волокно';
3. урал. **tōye* 'давать' : алт. **tā-* 'давать, получать', драв. **tā* 'дать';
4. урал. **sōla* 'отделяться от стада' : алт. **sālu* 'отделяться';
5. урал. **sōja* 'помещение, укрытие' : алт. **šaj(λ)* 'свободное место';

6. урал. **ñōre* 'молодой' : алт. **ñān* 'молодой, новый', драв. **ñāŕ* 'молодой побег'.

Таким образом, как, надеюсь, видно из выше изложенного, обработка В.М. Иллич-Свитычем уральского материала, вводимого им в сравнительную грамматику ностратических языков, представляла собой многостороннее научное исследование, в ходе которого были сделаны глубокие наблюдения и намечены пути разрешения важнейших проблем уралистики. Отмечу также одну частную проблему: проблему венгерских долгот, позиций их появления, решение которой я обнаружил в черновиках в виде списка основ с долготой и без таковой, расположенных по финским и саамским основам, и библиографической карточки со схемой, опубликованной мною на с. XXXIII предисловия к «Опыту...» (к сожалению, с опечаткой: в форме **wet* над *e* должен стоять знак долготы – **wēt*). В дальнейшем это наблюдение В.М. Иллич-Свитыча было детально разработано и уточнено в работе Е.А. Хелимского.

Своей обработкой уральского материала В.М. Иллич-Свитыч блестяще продемонстрировал тезис, приведенный мною в начале статьи.

В отличие от уралистики, в дравидологии обработка материала, произведенная В.М. Иллич-Свитычем, затронула по преимуществу проблемы консонантизма. Большинство новых положений в этой области, введенных им, касается предыстории ряда дравидийских фонем. Так им было показано, что два драв. *r* (*r* и *ŕ*) являются результатом фонологизации первоначальных аллофонов, распределённых по характеру (ряду) конечного гласного ностратических основ:

Драв. *r*

1. драв. *par* 'большой' : алт. [*bara* 'много'], урал. *para* 'хороший';
2. драв. *kar(a)* 'шип, острие' : алт. *gara* 'острие, ветка, хвойное дерево', урал. *kara* 'шип, ветка, хвойное дерево';
3. драв. *kor/kur* 'журавль' : алт. [*kara/kura* 'журавль'];
4. драв. *kar(a)* 'берег, край' : алт. *kira* 'край, предел, горный гребень';
5. драв. *ñar* 'огонь, пылать' : алт. [*naRa* 'солнце'];
6. драв. *kūr* 'антилопа, олень' : алт. [*gūra* 'самец антилопы'];
7. драв. *muŕ* (при варианте *muŕ*) 'ломать, разбивать' : урал. *mura/mora* 'хрупкий, ломкий';
8. драв. *ēr/eri* 'сиять, пылать' : алт. *jaru* 'светить, сиять';
9. драв. *ūr* 'таять, плавиться' : алт. *ūRu* 'течь'.

Драв. *ŕ*

1. драв. *iŕ(a)/eŕ* 'ломаться' : урал. *eŕä* 'разваливаться, часть, доля', алт. [*ärü* 'распасться, растворяться, таять'];
2. драв. *ēr* 'самец' : алт. *ērä* 'самец';
3. драв. *ēr* 'подниматься' : алт. *urä* (*örä* ~ *or/a*) 'подниматься, восходить';
4. драв. *kar* (варианты: *kār/kār*) 'черный' : алт. *Karä* 'черный';
5. драв. *mār* (вариант *mār*) 'детеныш мужского пола' : алт. [*miarä* 'выходить замуж'];
6. драв. *muŕ* 'скручивать, вращать' (депалатализованный вариант: *muri*) : алт.: монг. *muri*, тунг. *mōri* 'поворачивать, крутить';
7. драв. *peŕ* 'подбирать, собирать' : алт. *bari* 'брать в руки';
8. драв. *neŕŕi* 'лоб, перёд' : урал. *nēre* 'перёд головы'.

Аналогичным нетривиальным результатом внешнего сравнения явилось объяснение ряда количественных отклонений в вокализме первого слога от ожидаемых как компенсаторных удлинений вследствие редукции конечного гласного, например:

драв. *ir-/ir-* 'тащить, волочить' (при алт. *ifa*), и под. (в «Опыте» т. I – II таких сопоставлений семь) при том, что в случае ожидаемого узкого гласного удлинения не наблюдается.

В других случаях внешнее сравнение вынудило В.М. Иллич-Свитыча внести изменение в дравидийскую реконструкцию. Так оказалось, что внешние соответствия в области сибилантов, выделяющие ряд, реконструируемый им как латеральный, совпали с классом морфем с драв. *c-/cc-*, дающих в северодравидийских и брагуи рефлекс *k-*, что заставило отказаться от представления о вторичности и позиционности или спорадичности этого рефлекса и реконструировать особую дравидийскую фонему *c_r*. На подобных же основаниях была предложена реконструкция драв. *p*, (*p*- слабое, рефлексы характеризуются наличием вариантности: *p* ~ *v*).

Во всех таких случаях, как мы видим, внешние соответствия побуждали к проверке отброшенных или пропущенных в ходе внутреннего для дочерней семьи сравнения альтернатив и к восстановлению строгости компаративистской процедуры.

Дравидийские языки вошли в сферу ностратических исследований В.М. Иллич-Свитыча относительно поздно (позднее остальных групп), этим объясняется то, что мы сейчас обнаруживаем много неучтенных В.М. Иллич-Свитычем дравидийских параллелей даже в DED'e первого издания. С другой стороны, новые поступления дравидийского материала, особенно из центрально-дравидийских языков, в значительном количестве случаев подтвердили общедравидийский характер дравидийских параллелей В.М. Иллич-Свитыча, предложенных им на основе одной из групп. Примером может служить 160-е сближение (**kājwɔ* 'жевать'), в которое в настоящее время с полным правом должна входить и дравидийская морфема, введенная В.М. Иллич-Свитычем на основе лишь известного тогда южнодравидийского материала.

Как я постарался здесь показать, исследования В.М. Иллич-Свитыча по отдаленному родству языков не строились на голом сближении реконструированных сравнительными грамматиками праформ и тем более на сближении отдельных лексем, почерпнутых из словарей, как это пытаются иногда утверждать его критики. Его работа отличалась исключительным вниманием ко всей полноте содержания частных компаративистик и той строгостью метода, которой часто недостает многим его критикам.

И ещё один вывод, который напрашивается при изучении работ В.М. Иллич-Свитыча по ностратике, – это тот, что лишь обеспечение сугубой строгости, точности метода и всесторонности охвата фактов может обеспечить исследованиям отдаленного родства действительный успех.

С того момента, как исследование В.М. Иллич-Свитыча было трагически прервано, прошло более 30 лет. За эти годы были достигнуты значительные успехи в сравнительно-историческом изучении почти всех ностратических семей.

Уральское языкознание пополнилось рядом этимологических исследований, охвативших фактически все подгруппы семьи. Появилась системная реконструкция прасамодийского. Предложены новые решения в области обско-угорского вокализма, структуры уральского корня и морфологической системы праязыка.

В дравидийском языкознании сразу же за выпуском дравидийского этимологического словаря, которым ещё смог воспользоваться В.М. Иллич-Свитыч, вышел том дополнений. Полевые работы по дравидийскому языкознанию выявили несколько новых центрально-дравидийских языков, материал которых составляет теперь основу этимологических работ. К настоящему времени относительно полному и всестороннему исследованию подверглись почти все части систем дравидийских языков.

В области алтайского языкознания выделяется многолетняя работа российских специалистов по тунгусо-маньчжурским языкам (двухтомный сравнительный словарь этих

языков, содержащий колоссальные материалы для этимологических работ). Выпущены и продолжают выпускаться тюркские этимологические словари. Доказана принадлежность к алтайской семье японского и корейского языков. Установлен ряд нетривиальных соответствий между алтайскими языками, что вывело этимологическую работу в области алтайского языкознания на качественно более высокий уровень. В настоящее время составляется большой алтайский этимологический словарь.

Заметно возросли работы по афразийскому языкознанию. Наряду с публикациями результатов многочисленных полевых исследований ведётся работа по изучению сравнительно-исторической фонетики отдельных афразийских языковых групп. Изданы три выпуска сравнительно-исторического словаря афразийских языков (под руководством И.М. Дьяконова). Вышел из печати «Хамито-семитский этимологический словарь», составленный В.Э. Орлом и О.В. Столбовой, по ряду важных решений отличающийся от словаря группы И.М. Дьяконова. Работа над этими словарями сопровождалась существенным пересмотром многих положений сравнительно-исторической фонетики этой семьи.

В области картвельского языкознания важным событием явилось издание нового этимологического словаря картвельских языков ([9]). В настоящее время готовится новое значительно расширенное издание этимологического словаря Г.А. Климова. Сейчас, после публикации обширных исторического и диалектологического грузинских словарей, дальнейший прогресс картвельской этимологии в значительной степени зависит от поступления новых материалов по занской и сванской лексикографии.

Эти годы не прошли бесследно и для индоевропейского языкознания.

Однако все эти исследования в области отдельных языковых семей, многие из которых были собственно стимулированы ностратической теорией или в той или иной степени отталкивались от результатов, полученных В.М. Иллич-Свитычем, отнюдь не поставили её под сомнение. Можно утверждать, что ностратическая теория прошла проверку, продемонстрировав правомерность своего существования и способность описывать и объяснять новые (неизвестные ещё В.М. Иллич-Свитычу) факты языков-потомков. Тем самым ещё раз была подтверждена надёжность и действенность сравнительно-исторического метода в языкознании и отвергнуто представление о том, что этот метод имеет хронологические ограничения и не может применяться при изучении древнейших языковых связей.

Сама проблематика отдалённого родства в настоящее время значительно расширилась, так как удалось получить строгое доказательство существования ещё одной макросемьи – синокавказской. Опубликованы этимологический словарь северокавказских языков (С.Л. Николаев, С.А. Старостин) и этимологический словарь синотибетских языков (И.И. Пейрос, С.А. Старостин). Большие успехи достигнуты в изучении истории не-ностратических языков Сибири — совсем недавно появился из печати этимологический словарь чукотско-камчатских языков (О.А. Мудрак). Отсюда новые возможности уточнения границ ностратической языковой общности. Общее количество макросемей, по которым делятся языки мира сейчас оценивается порядком десятка. Родство макросемей – проблема будущего³.

³ Что касается современного состояния ностратической проблемы, см. подробную библиографию И. Хегедюш, а также статьи в 1-м томе "Московского лингвистического журнала" (М., РГГУ, 1995).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Hanusz J.* Ueber die Betonung der Substantiva im Kleinrussischen // *AfsIph.* 1883. Bd. 8.
2. *Иллич-Свитыч В.М.* Генезис индоевропейских рядов гуттуральных в свете данных внешнего сравнения. // *Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Тезисы докладов.* М., 1964. С. 22-26. Подробный обзор относящегося к этой проблеме материала, введенного В.М. Иллич-Свитычем, см.: *Дыбо В.А.* Ностратическая гипотеза (Итоги и проблемы). // *Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка.* Т. XXXVII, вып. 5. М., 1978. С. 400-413; дальнейшее обсуждение этой проблемы см.: *Долгопольский А.Б.* Судьба ностратических гласных в индоевропейском языке. // *МЛЖ*, 1995, №1. С. 14-15; *Manaster Ramer A.* On indo-european triune velars and nostratic front rounded vowels. // *МЛЖ*, 1995, №1. С. 41-50.
3. *Collinder Björn.* Hat das Uralische Verwandte? Eine sprachvergleichende Untersuchung. // *Acta Universitatis Upsaliensis. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis. Nova series*, 1:4. Uppsala, 1965, S.172.
4. *Gombocz Z.* Zur Lautgeschichte der altaischen Sprachen // *Keleti szemle*, 1912-1913, XIII.
5. *Poppe N.* Altaisch und Urtürkisch. // *UJb*, 1926, 6, S. 100-101.
6. *Trombetti A.* Elementi di glottologia. Bologna, 1923. P. 390.
7. *Иллич-Свитыч В. М.* Алтайские дентальные: *t, d, δ*. // *ВЯ*, 1963, № 6.
8. *Иллич-Свитыч В. М.* Алтайские гуттуральные **k', *k, *g*. // *Этимология.* М., 1964.
9. *Фенрих Г., Сарджвеладзе З.А.* *Этимологический словарь картвельских языков.* Тбилиси, 1990 [на груз. яз.].



© 2000 г. А.С. СТЫКАЛИН

К 150-летию со дня рождения Т.Г. Масарика

Т.Г. МАСАРИК И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПО СТРАНИЦАМ "БЕСЕД С МАСАРИКОМ" К. ЧАПЕКА

В 1997–1998 гг. журнал "Вопросы истории" осуществил публикацию бесед К. Чапека с Т.Г. Масариком [1], источника, который, наряду с несомненной познавательной ценностью (отнюдь не только для специалистов по чешской и словацкой истории), сохраняет известное значение как литературное явление. Жанр этого произведения имеет довольно богатую традицию в мировой литературе – достаточно вспомнить "Разговоры с Гете в последние годы его жизни" И.П. Эккермана. Но при всей укорененности в традиции, этот жанр таит в себе неограниченные возможности отступления от канонических образцов, ибо многое зависит от индивидуальностей собеседников, их уникального жизненного опыта, масштабов и разносторонности дарований.

Беседы одного из крупнейших чешских писателей XX в. с выдающимся политиком и мыслителем, основателем Чехословацкого государства породили неповторимый творческий сплав, органично сочетающий в себе мемуары, философские диалоги в традиции, идущей от Платона, политический трактат и публицистическую проповедь. Реалии Габсбургской монархии 1860-х – 1880-х годов, межпартийная борьба в чешских землях начала XX в., будни чехословацкой политической эмиграции в Западной Европе и США времен первой мировой войны, первые шаги по строительству новой государственности после 1918 г. предстают в описании человека, на протяжении полувека (со времени известных дискуссий конца 1880-х годов о подлинности "Крале-дворской" и "Зеленогорской" рукописей и вплоть до своей кончины в 1937 г.) игравшего одну из ключевых ролей в политическом и духовном развитии чешской нации. Воспоминания перемежаются с обильными рассуждениями как о сущности демократии и социализма в их понимании Масариком, так и о более абстрактных философских материях.

Заметное место в беседах Масарика с Чапеком занимают российские сюжеты. Свидетельства непосредственного очевидца эпохальных событий в России 1917–1918 гг. (Масарик в качестве специального уполномоченного Антанты с мая 1917 г. по март 1918 г. находился в России, занимаясь организацией Чехословацкого легиона из военнопленных австро-венгерской армии), отношение чехословацкого президента к царизму и к большевистскому режиму, его связи с деятелями российской культуры, роль

Стыкалин Александр Сергеевич – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

русской литературы в его духовном становлении – каждая из этих тем в ее преломлении на страницах "Бесед с Масариком" заслуживает специального рассмотрения. Мы остановимся лишь на одном, обозначенном в заголовке публикации, сюжете.

О России Масарик впервые услышал еще в раннем детстве, когда в семье вспоминали о "венгерском походе" русской армии 1849 г., происшедшем за год до рождения первого чехословацкого президента. В юности, в годы учебы в гимназии г. Брно, проявившийся интерес Масарика к русской культуре находился в тесной взаимосвязи с его размышлениями о славянстве. "Проблема, которая в те годы меня интересовала более всего, была славянство. Это меня волновало, хоть и неясно, и как предчувствие, уже в детские годы"; "из романтических симпатий к польским повстанцам (участникам восстания 1863–1864 гг., подавление которого царскими войсками юный Масарик тяжело переживал. – А.С.) гимназистом я учил польский, а в Вене принялся за русский", – вспоминал он [1. 1997. № 12. С. 92]. В Вене Масарик жил с 1869 г. Он закончил там гимназию, а в 1872 г. поступил в университет, где учился у известного философа Ф. Brentano, подготовив под его руководством и защитив в 1876 г. диссертацию о философии Платона. Сыну извозчика приходилось самому зарабатывать себе на жизнь, и, овладев русским языком, Масарик даже давал частные уроки русского.

Продолжив философское и социологическое образование в Лейпциге, Масарик в 1879 г. становится в Вене доцентом университета, а в 1882 г. получает приглашение в Прагу, где начинает работать в качестве экстраординарного профессора только что открытого чешского университета. "Уже в Вене, – вспоминал он, – я зачитывался русской литературой; позже, в Праге, она захватила меня целиком. Смеею признаться, что тогда мало кто знал русскую литературу так хорошо, как я" [1. 1997. № 12. С. 93]. Это признание Масарика подтверждается не только отзывами людей, его близко знавших, но и его известными работами, посвященными осмыслению исторического призвания России, ее места среди восточных и западных соседей ("Россия и Европа", 1913 г. и др.). Духовный опыт прочтения русской литературной классики проявился в этих работах и в постановке религиозных и моральных проблем, и в поисках путей их разрешения (см. публикации на русском языке: [2–5]).

Наряду с художественной литературой, будущего чехословацкого президента интересовала русская философия, которую он рассматривал в сопоставлении с новой европейской философией от И. Канта до Ф. Ницше. В 1880-е годы Масарик испытал определенное влияние народнической социологии П. Лаврова и Н. Михайловского, в 1889 г. опубликовал работу о творчестве славянофила И. Киреевского. Позже, накануне первой мировой войны, Масарик признал, что изучение России и русской литературы помогло ему выработать более четкие представления относительно Гегеля и Фейербаха и что именно через русскую философию и литературу он смог осознать всемирно-историческое значение Юма и Канта [4. С. 106].

Содержательный очерк истории русской философии от П. Чаадаева до 1910-х годов дается в книге "Россия и Европа". Согласно концепции Масарика, рассматривавшего творчество русских мыслителей в общеевропейском духовном контексте, практическая устремленность русской философии и ее исключительный интерес к этическим проблемам имели своей обратной стороной пренебрежение гносеологическим подходом. Традиция философской критики ложного сознания не получила в России должного развития, а потому отрицание того или иного мифа вовсе не означало отказа от мифотворчества как такового. При недостатке рационально-критического начала происходила смена господствующих мифов. "Тоска по вере, направленная против скепсиса, вовсе не всегда обозначает тягу именно к религиозной вере, – русскому хочется верить во что угодно – в железные дороги (Белинский), в жабу (нигилист Базаров), в византизм (Леонтьев) и тому подобное. Леонтьев готов призвать на помощь против скепсиса даже насилие: он принуждает сам себя к вере" [2. С. 212–213]. Отсюда, по мнению Масарика, проистекает и исключительная роль художественной литературы в формировании русского национального сознания –

писатель ведь ближе к мифу, чем философ, а потому к нему охотнее прислушиваются те, кто жаждет новых мифов. Отсюда же и мистическое отношение к революции, которое в России сродни ожиданию чуда.

Вера в "русскую идею", в особое призвание России была одним из двигателей в духовных исканиях Ф.М. Достоевского, которого Масарик считал не только писателем мирового масштаба, но и крупным социальным мыслителем. При этом он не уставал полемизировать с его представлениями об особой миссии русского народа, выраженными, в частности, в "Дневнике писателя". Говоря о том, что будущее Европы принадлежит России, Достоевский, писал Масарик, исходит не столько из культурных, сколько из геополитических посылок: географическое положение России, мощь государства и численность нации для него важнейшие аргументы в пользу "избранничества" русского народа. А потому "русская идея" у него нередко оборачивается апологетикой самодержавной власти, и "всечеловек Достоевского – если взглянуть в него попристальнее – по существу предстает как шовинист" [5. С. 378]. Прославляя действия царизма на Балканах (так, что даже последняя запись в дневнике сделана во славу генерала Скобелева), Достоевский не хотел видеть, что эта политика, движимая имперскими амбициями, зачастую основана на пренебрежении человеческими жизнями, не имеет других духовных и моральных опор, кроме храбрости лучших русских солдат. "Я понимаю любовь Достоевского к русской земле, я понимаю любовь к прочной земле под ногами... Однако эти факторы почвы и обычая никоим образом не должны навязываться в качестве идеи, русской идеи" [5. С. 379]; "Русский мессианиззм не принес добрых плодов России" [5. С. 380].

Изучая прозу и публицистику Достоевского, Масарик пытался проследить связь почвеннических идей как с православной духовной традицией, так и с русским национальным характером. По собственному откровенному признанию, сделанному в беседе с Чапком, всю жизнь своим "англосаксонством" и американфильством он изживал в себе славянское анархическое начало. "Достоевский, – говорил в этой связи Масарик, – меня занимал даже негативно, я должен был сопротивляться русскому – и славянскому вообще – духу анархии, который он, несмотря на свое обращение к православию, так и не преодолел. Своей двойственностью он стал отцом русского иезуитства" [1. 1997. № 11. С. 115]. Вопреки настойчивому стремлению к обретению веры Достоевский, в трактовке Масарика, «был атеистом; он сам однажды сказал русским нигилистам: "Это вы мне будете рассказывать, что такое атеизм?" Но он стремился быть православным; стремился "изолгаться до правды". Пустое дело: никто не может вернуться к вере, если она утрачена – он может принять любую иную, но ту, которую потерял, ему уже не найти. Поэтому в этом искусственном православии Достоевского я ощущал нечто, похожее на иезуитство. Это не давало мне покоя: мне хотелось познакомиться с Россией и православием поближе» [1. 1997. № 12. С. 93].

В Россию Масарик впервые приехал в 1887 г., затем вновь – через год. Он побывал в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, посетил Сергиев Посад. "Мне хотелось видеть те улицы и вообще те места, которые я так хорошо знал по романам Достоевского, Толстого и других писателей", – заметил он позже [2. С. 187]. Знакомство с филологами-славистами произвело на него довольно-таки удручающее впечатление. В Ламанский ему прямо сказал, что "русских интересуют только православные славяне, из других – более всего словаки, поскольку они так же наивны, как и русский Божий люд. Нас, чехов, как либералов и западников – они могли бы послать к черту" [1. 1997. № 12. С. 93]. В целом из своих первых поездок он вынес, по собственному признанию, примерно те же впечатления, что и за полвека до Масарика его соотечественник К. Гавличек-Боровский: "Любовь к русскому народу и неприятие официальной политики и признанной властями интеллигенции" [1. 1997. № 12. С. 93]. И естественную неприязнь с его стороны всегда вызывали довольно немногочисленные апологеты царского самодержавия и панславистских идей в чешских политических кругах: "Наших крикливых архиславистов, которые даже не потрудились выучить азбуку, я просто не признавал" [2. С. 187].

1880–1890-е годы, в которых Масарик усиленно занимался изучением русской культуры, были временем, когда "города и городишки пробуждались от провинциальной дремоты. Новые люди вторгались в жизнь, засучив рукава" [1. 1998. № 1. С. 86]; все "разбредалось и переплеталось; ну да, это была эпоха, когда распахивали окна в мир и открывали дороги в мир, но и искали самих себя" [1. 1997. № 12. С. 100]. "Брожение умов тогда наблюдалось и в литературе. К нам потоком пошли произведения иностранных авторов; французов, от Золя до символистов, и северных; особенно сильное впечатление производил Ибсен... На общество вдруг обрушилось множество новых впечатлений и критериев" [1. 1997. № 12. С. 100]. Едва ли не самая мощная струя в этом потоке проистекала из России. Как свидетельствует Масарик, "русская литература, особенно Толстой и Достоевский, уже обрели авторитет и влияние" во всем мире [1. 1997. № 12. С. 100]. Осознавая мировое значение Толстого, пражский профессор философии решил лично познакомиться с одним из властителей дум молодых поколений не только русской, но и – шире – европейской интеллигенции. "Первый раз я навестил его в Москве, в его дворце (речь идет об усадьбе в Хамовниках. – А.С.). Как сейчас помню, он почти с гордостью показывал мне свой рабочий кабинет: деревянный деревенский потолок, до которого можно дотянуться рукой, однако потолок этот специально вделан в высокую господскую комнату. В этой деревенской избе – письменный стол с удобным кожаным креслом и диваном – для деревенской избы это, конечно, никак не годилось". Ходил Толстой "в подпоясанной мужицкой рубаше и сапогах, которые сшил сам; разумеется, очень плохо они были сшиты. К чаю он пригласил меня в господские покои – сплошь красный бархат, по обычаю аристократических домов" [1. 1997. № 12. С. 93]. "И в графской столовой он употреблял только простую деревенскую пищу, но эта самая мужицкая каша изготвлялась на чистой графской кухне, и графиня часто пододвигала к нему блюдо со сладким вареньем (Толстой любил сладости), которое он, как бы не замечая, поедал. Чай он пил по-мужицки, цедил через кусочек сахара, но чай-то заваривался тонкий, первосортный" [2. С. 192]. Уже при первом посещении Масарику бросилось, таким образом, в глаза, что своего идеала опрощения Толстой не достиг. После трапезы хозяин повел гостя в приусадебный парк, где разговор зашел на философские темы. Говорили о Шопенгауэре, "которого Лев Николаевич понимал плохо; посреди разговора он остановился как мужик на меже и предложил мне быть его последователем – мне это показалось фальшивым, искусственно-примитивным, неестественным" [1. 1997. № 12. С. 93].

Во время своих трех посещений России (1887, 1888, 1910 гг.) Масарику неоднократно довелось побывать и в Ясной Поляне, где в последний его приезд земляк философа доктор Д. Маковицкий смотрел хозяину в рот и записывал огрызком карандаша каждую произнесенную сентенцию. "Перед деревней мостик был настолько шаток, что лошади могли сломать ноги; пришлось объезжать. Около полудня я подъехал к усадьбе; мне сказали, что Лев Николаевич еще почивает, потому что всю ночь вел дебаты с Черновым¹ и гостями. Тогда я пошел посмотреть деревню; она была грязна и убога" [1. 1997. № 12. С. 93].

Непоследовательность и даже некоторая показушность толстовского аскетизма, как и явная искусственность теории "опрощения", резко контрастировали с его художественным гением, умением постичь глубины человеческого духа. Особенно чуждыми показались прагматической натуре позитивиста Масарика представления Толстого о мужицком достоинстве, лишь вводящие в сторону от решения больших социальных проблем. "Толстой сам сказал мне, что пил из стакана сифилитика, чтобы не обнаружить брезгливость и тем не унижить его; об этом он подумал, а вот уберечь своих крестьян от заразы – об этом – нет!" [1. 1997. № 12. С. 93–94]. Масарик дока-

¹ На основании "Летописи жизни и творчества Л.Н. Толстого" Н.Н. Гусева (М., 1958–1960), фиксирующей и посещения Толстого Масариком, можно предположить, что речь идет о В.Г. Черткове, ближайшем сотруднике Толстого и активном пропагандисте его учения.

звал Толстому, что "сифилитик, у которого не хватает порядочности и такта, чтобы не подвергать своих ближних опасности заразиться, нуждается в поучении и в выговоре, и не из-за нелюбви к нему, а в интересах ближних. В разговорах об эгоизме и альтруизме... Толстого задело... утверждение, что между этими двумя понятиями нет такого противопоставления, какое им обычно приписывается" [2. С. 194]².

Между тем и в Москве, и в Ясной Поляне Масарик смог воочию убедиться, сколь притягательными были для многих молодых современников идеи и сама личность Толстого. "К Толстому обращались люди из всех уголков России и искали у него совета и облегчения во многих мучивших их вопросах... В доме Толстого всегда была обстановка как в некоем религиозно-этическом парламенте. Казалось, что человека вынуждают вслух исповедоваться себе самому, – такое у меня было ощущение. Постоянно общаясь с самыми разными людьми, он усвоил необычайно живую манеру подхода к каждому и буквально каждого искушал исповедоваться... В его присутствии вас охватывало ощущение, что честная жизнь – это постоянная исповедь, что исповедь нужна всегда" [2. С. 193, 197–198]. Все же для многих последователей Толстого на первый план выходили не его неустанные этические искания, а чисто внешняя сторона поведения, образа жизни "мужиковствующего" графа, ходящего в крестьянской рубашке и пашущего землю. Общение с некоторыми из них не вызвало в Масарике ничего, кроме чувства гадливости. Сын художника Н. Ге, например, "опростился настолько, что издалека пришел к Толстому пешком, потому что железная дорога, мол, не для мужиков. На нем было столько вшей, что его пришлось тут же вымыть и отчистить щеткой" [1. 1997. № 12. С. 93]. Такие люди, как правило, быстро порывали с толстовством.

Одна из встреч Масарика с Толстым привела к столь ожесточенному спору, что и многие годы спустя, в беседах с Чапеком, он не мог отрешиться от прежнего эмоционального запала. Не нужно чистоту и лоск отождествлять с душевным развратом, а бедность и грязь смешивать с природным аскетизмом, а тем более выдавать их за достоинство и заслугу, говорил он, лучше подумать о том, как хотя бы в чем-то малом улучшить положение крестьян. "Простота, прощение, опроститься! Господи Боже! Проблемы города и деревни невозможно разрешить сентиментальной моралью и объявлением крестьянина и деревни образцом всего... Шить себе сапоги, ходить пешком вместо того, чтобы ездить поездом – ведь это лишь пустая трата времени; ведь за это время можно было бы сделать множество куда более полезных вещей!" [1. 1997. № 12. С. 94].

Последовательного демократа и гуманиста Масарика не убедила и философия непротivления злу насилieм. Ей он противопоставил свою философию: "Мой тезис выглядел приблизительно так: если кто-нибудь нападает, чтобы убить меня, я буду защищаться, если же нельзя будет помочь себе иначе – я убью насильника; если уж кто-то из двух должен быть убит, то пусть будет убит тот, кто злоумышляет убийство" [1. 1997. № 12. С. 94]. А вообще же, говорил он Толстому, а позже Чапеку, речь должна идти не только о сопротивлении насилieу, но о борьбе против всяческого зла по всем линиям. После смерти Толстого в работе, ему посвященной, Масарик также не мог не воспроизвести суть своих споров с Толстым: "Я стоял за то, что гуманность не запрещает защищаться, в крайнем случае и с помощью оружия, но что обязанность защищающегося – ограничиваться обороной и не творить новых насилieй. Гуманность не терпит мести. Я согласился и с тем, что очень непросто поступать согласно данному правилу, но что оно более верно, чем непротivление Толстого" [2. С. 194].

"Словом, мы не смогли договориться, – резюмировал Масарик итоги последней

² О беседе Масарика и Толстого отечественный читатель впервые мог узнать из книги русского эмигранта Д. Мейснера, давшего несколько измененную версию этой беседы и не отославшего при этом к конкретному тексту Масарика: «"Вот вы, Лев Николаевич, сапоги шьете, а у вас в деревне крестьяне от сифилиса гниют, лечить их надо". – "Зачем лечить, – ответил ему, как вспоминал Масарик, Толстой, – их надо не лечить, а отучить развратничать, тогда и сифилиса не будет. А зачем развратника лечить? Он вылечится и опять заболит» [6].

своей поездки в Ясную Поляну, за несколько месяцев до кончины Толстого, – Графиня (С.А. Толстая. – А.С.) была разумная женщина, она с грустью наблюдала, как неразумно Толстой готов все раздать; горевала о судьбе своих детей. Ничего не могу с собой поделатъ, но в этой семейной распре я скорее держал ее сторону" [1. 1997. № 12. С. 94]. В ноябре 1910 г. в некрологе Л.Н. Толстому, опубликованном в пражском журнале "Čas", Масарик писал о графине С.А. Толстой: "Несправедливо обвинять ее в том, что она не понимала Толстого. Да, не понимала. Но ведь Толстой сам выбрал ее в подруги жизни. Во время моих двух первых посещений мы много говорили об этом и очень откровенно" [2. С. 195].

Посетив Ясную Поляну в конце марта 1910 г., Масарик, по собственному признанию, ощущал, что видится с Толстым в последний раз. В ноябре того же года он получил известие о его смерти. "Россия обеднела. Ушел из жизни Великий человек, ставший признанным моральным авторитетом", – так выразил Масарик свое отношение к усопшему [2. С. 192]. В скупом сообщении об обстоятельствах смерти графа была заключена, писал он в некрологе, "вся душевная драма Толстого: в стремлении опроститься по заветам своего учителя Руссо он едет, подобно мужику, в третьем классе, но ведь у мужика нет своего лейб-медика и у его смертного одра не собирается консилиум мировых светил. А как долго сражался Толстой с медициной, чтобы в конце концов признать ее благодетельность!" [2. С. 192]. Толстой бежал не от своей семьи и не от своего окружения, не всегда понимавшего его. Прежде всего он был движим поиском истины, и в этом смысле, как полагал Масарик, его смерть явилась логическим завершением всей его жизни. Толстой буквально физически ощущал ложь и страдал от нее, отсюда проистекал его конфликт с официальной православной церковью, увидевшей ересь в его стремлении к очищению религии от всего, что не соответствовало его представлениям о нравственности и правде. Толстой, считал Масарик, вышел победителем в этом конфликте: церковь своим отлучением бесконечно возвысила его в глазах многих современников, доверявших Толстому наиболее интимные свои переживания ("В долгих и частых беседах с Толстым мы обсуждали все проблемы жизни и самые интимные загадки души и сердца", – скажет Масарик о себе [2. С. 193]). При этом в своих нравственных исканиях Толстой не переставал оставаться художником даже тогда, когда проповедовал идеи об изначальном аморализме художественного творчества. Нет никакого противоречия между этикой Толстого и его искусством, пронизанным духом правды, ставшим квинтэссенцией русского реализма – к такому выводу пришел Масарик в одной из своих лекций о Толстом [2. С. 200]. Традиция реализма в русской литературе помогала будущему чехословацкому президенту изживать любые проявления утопизма и мифологизма в собственном мышлении, формироваться как политику последовательно реалистического склада. "Я вынужден постоянно держать себя в узде; когда я призывал к реализму, к научному методу, я тем самым превозмогал в себе свой собственный романтизм и старался сам себя научить строгой дисциплине мысли. В реальной жизни я заставляю себя быть реалистом, сознательно и неуклонно" [1. 1998. № 1. С. 92].

Масарик, как и Толстой, всю жизнь борющийся за нравственное очищение религии и во времена Австро-Венгерской монархии неоднократно вступавший в конфликт с австрийской католической церковью, лучше многих других мог понять Толстого в его духовных устремлениях, даже если и не принимал отдельных сторон его учения. "Я испытывал к Толстому чувство глубокой дружбы и любил его, очень любил, хотя и во многом с ним не соглашался. Конечно, проще дружить с людьми, с которыми можно быть заодно. Мне жизнь дала иные уроки, чем ему. Я очень много размышлял о его понимании жизни и в 1887 году даже поставил практический опыт: будучи в России, попытался жить по-толстовски, чтобы посмотреть, не изменит ли практика мои взгляды. Не изменила" [2. С. 195–196]. Для Масарика была неприемлема уже одна из фундаментальных посылок учения Толстого – о враждебности прогресса человеческой нравственности. "В культуре и цивилизации много сомнительного, но нельзя же поэтому отбрасывать ее целиком", тем более в России, где вражда властей к про-

свещению как мало в какой другой стране, по его мнению, мешает улучшению человеческого бытия [2. С. 193].

Толстой питал к Масарику ответное уважение. Отзывы о "нравственно чутком пражском ученом" [2. С. 190; 7. Т. 29. С. 206–207], "сердечном и свободном человеке" [2. С. 190; 7. Т. 86. С. 144], который "очень хорошо и думает, и понимает также" [2. С. 190; 7. Т. 84. С. 30], то и дело встречаются в его переписке. В яснополянской библиотеке хранятся книги Масарика "Самоубийство как общественное массовое явление современной цивилизации", "Философские и социологические основания марксизма" с пометами Толстого. Всех чехов и словаков, посещавших Хамовники и Ясную Поляну, Толстой расспрашивал о Масарике, следил за его новыми работами, не очень одобряя увлечение политикой, депутатство в австрийском парламенте. По просьбе чешских друзей Масарика великий русский писатель откликнулся на 60-летие пражского философа. Кроме "общего всем людям, знающим Масарика, чувства уважения к его искренней, твердой, горячей и самой разнообразной, общественной и ученой деятельности" Толстой выразил еще и свое собственное чувство "благодарности ему за его доброе отношение ко мне, а также за многие сообщенные им мне в свое время важные для меня сведения". Главное же, писал Толстой, что юбилей Масарика дал ему случай выразить "чувства искренней любви к нему как к человеку" [7. Т. 81. С. 113–114]. Но особенно дорогого стоит, пожалуй, следующий отзыв Толстого о Масарике, высказанный одному из собеседников после встречи с чешским философом в марте 1910 г.: "Именно такого критика мне нужно было" [2. С. 192].

Надо сказать, что позиция Толстого контрастировала с довольно настороженным отношением к Масарику в официальных кругах царской России, а также на правом фланге неославистов. В дипломатических донесениях из Австро-Венгрии в канун первой мировой войны Масарик нередко предстал как деятель антирусской, сугубо прозападной ориентации, успевший "в качестве профессора воспитать в плеяде университетской молодежи отчужденность к России и презрение к ее отсталому, по его мнению, государственному строю" [8. С. 268]. Отношение к нему как к "изменнику славянскому делу", "отщепенцу славянского чувства и всеславянской идеи", ведущему не менее вредную антирусскую агитацию, чем некоторые круги отечественной революционной эмиграции, сохранялось даже в годы войны, когда Масарик, стремившийся сделать чешское национальное движение надежным союзником Антанты, был заочно приговорен режимом Габсбургов к смертной казни [9. С. 163]. По мнению официального Петербурга, Масарик, оказавшись у власти в Чехии в случае возможного падения Австро-Венгерской монархии, явился бы "властным насадителем в своей стране крайне западнических идей", сторонником полного отчуждения чехов от славянского мира [8. С. 268; 9]. Фундаментальная работа Масарика "Россия и Европа" была запрещена в России из-за явно критического отношения ее автора к режиму Николая II. Сам Масарик в беседе 1920-х годов с Чапеком был откровенен, вспоминая предшествующее десятилетие: "От царской России я ни в нравственном, ни в военном плане многого не ожидал" [1. 1998. № 1. С. 93]. В то же время он неизменно подчеркивал, что его книга ни в коей мере не направлена против России. Более того, Масарик считал, что именно новой, демократической России как неотъемлемой и основной части славянского целого должна принадлежать инициатива в делах общеславянских – в том, чтобы вдохнуть свежие силы во всеславянскую идею [9. С. 155]. При этом для Масарика славянская взаимность была лишь шагом на пути к достижению общности более высокого порядка. "Я не недооцениваю эмоциональную значимость идеи славянской взаимности; однако расцениваю ее как ступень ко взаимности более широкой и самой широкой. Уже Коллар – наряду с идеей славянской взаимности выдвигал также и идею взаимности с народами неславянскими", – писал он [1. 1998. № 5. С. 87]. "Я люблю Россию не меньше наших славянофилов, – подчеркивал Масарик, – ...но любовь не может и не должна усыплять разум" [10. С. 14].

Задавшись целью написать историософскую работу об отношениях России и Европы, Масарик, по собственному признанию, "истерзался, думая и передумывая русские

вопросы" [9. С. 156]. В итоге многолетних размышлений он приходил к выводу, что можно говорить как о европеизации России, так и о русификации Европы "не только в плане постоянно увеличивающегося с восемнадцатого века политического влияния России на Европу, но и в отношении заинтересованного восприятия Европой русской литературы, которая способствовала вовлечению читающих во внутренние проблемы этой страны. Мы помним, как прославляли Россию Вольтер и Гердер; сегодня к ним можно причислить Ницше, Метерлинка, а также многих других, тех, кто воспринял русские идеи и идеалы" [4. С. 106]. Россия, по мнению Масарика, принадлежит Европе, хотя и обладает значительным своеобразием, обусловленным православной духовной традицией, византийским культурным влиянием и т.д. Вопрос о соотношении в российской культуре нового времени исконного (православно-византийского) начала и западных влияний он пытался разрешить на основе конкретн-исторического подхода, прослеживая развитие русской философии и литературы в обще-европейском контексте на протяжении последних двух веков, но главным образом XIX в. и современной ему России. По мнению Масарика, огромные размеры и исключительная социальная разнородность России делают ее уменьшенным подобием всего мира, а потому решение европейских проблем четче видится при обращении к российским аналогам (см.: [3, 4]).

Если официальная Россия не приняла работы Масарика, то в кругах либеральной интеллигенции отношение к ним, напротив, было почтительным. Видный философ Э.Л. Радлов, чья обширная переписка с Масариком, хранящаяся в отделе рукописей Пушкинского Дома в Петербурге и в других собраниях, еще ждет своей публикации, писал, что в книге "Россия и Европа" дана "наиболее полная характеристика русской философии из всех до настоящего времени имеющихся" [9. С. 154]. Главным источником понимания России была для Масарика все же, пожалуй, не русская философия, прекрасно им изученная, но художественная литература, причем отнюдь не только творчество Толстого и Достоевского. "Из русских мне дороги Пушкин, Гоголь, Гончаров; Толстой в моем представлении – великий художник, хотя я с ним спорил, не соглашаясь с его воззрениями", – писал он [1. 1997. № 11. С. 115]. Интересна характеристика Масариком Тургенева, названного им выразителем идей либерального "гамлетизма" [3. С. 126]. Любопытны также его размышления в связи с романом Чернышевского "Что делать?" в книге "Россия и Европа": общество должно быть устроено так, чтобы не требовались жертвы – пока люди будут охотно приносить жертвы, их будут использовать в своих целях эгоисты, а требовать от других жертв у людей редко бывает право [2. С. 204]. В числе крупных современных европейских писателей Масарик называл Горького, с которым лично был знаком.

Считая моральное совершенствование людей одним из главных факторов общественного прогресса, Масарик проявлял последовательный интерес к русской литературе, уделявшей особое внимание именно этической проблематике. При этом русская литература была лишь одной из составляющих в широком потоке культурных влияний, предопределявших духовную эволюцию Масарика, предпринимавшиеся им попытки создать подлинно национальную чешскую философию. "Я пытался создать органичный и оценивающий синтез и, думаю, все эти влияния сумел вполне гармонизировать с точки зрения нашей национальности. Решающее, формирующее влияние, думаю, оказывали на меня не поэты и философы, но жизнь, жизнь моя собственная и наша общая", – признал Масарик в беседе с Чапексом [1. 1997. № 11. С. 116–117].

Не скрывавший своего отрицательного отношения к большевизму Масарик воспринимался в 1920-е годы советским режимом как злейший враг, тем более, что с его именем ассоциировались и столкновения с Чехословацким легионом времен гражданской войны, и крупномасштабная акция помощи белоэмигрантам (см.: [11]). Положение изменилось лишь в середине 1930-х годов вследствие произошедшего советско-чехословацкого сближения на антигитлеровской основе. "Известия" 20 декабря 1935 г. назвали Масарика "последним из могикан подлинных буржуазных демократов, почти анахронистическим явлением в нынешнем буржуазном мире, с его кризисом демокра-

тии и исканиями фашистских новшеств". Считая реальный капитализм злом, он искренне, по мнению газеты, стремился его исправить (цит. по: [8. С. 273]). Интересно, что позиция органа ВЦИК перекликалась с мнением либерала П.Н. Милюкова. В сентябре 1937 г. на траурном собрании русской эмиграции в Праге по случаю кончины первого чехословацкого президента Милюков, лично знавший Масарика не одно десятилетие, произнес блестящую речь. «В этой гармонически созданной, глубоко цельной и нетронутой натуре, – говорил он, – не хватало способности непосредственного восприятия зла. Борьба со злом, вопреки Толстому, составляла, конечно, задачу всей его жизни. Но внутреннее влечение к злу в каком бы то ни было виде его здоровой в корне природе недоступно и непонятно. По поводу последней книги Конрада Гейдена³ о Гитлере, которую ему прочли перед самой смертью, он признался сыну (Я. Масарику. – А.С.), что этого типа людей он просто не понимает. Поэтому и Достоевский в своей сложности остался для него до конца жизни мучительной загадкой. В этом заключалась его душевная чистота и "простота", если угодно, его известная "наивность"» [10. С. 22]. Милюкову здесь приходил на память образ вагнеровского Парсифаля, «"святого простеца", недоступного греху, спасителя и охранителя своей духовной обители от чар соседнего злого волшебника» [10. С. 23].

В отличие от подавляющего большинства мыслителей, Т.Г. Масарик стечением жизненных обстоятельств получил счастливую возможность для практической реализации своего идеала. Востребованный нацией на крутом повороте ее исторического развития, он внес огромный вклад в создание одной из наиболее совершенных (при всех недостатках) демократий межвоенной Европы, позитивного опыта которой несколько не перечеркивает ее печальная концовка, произошедшая не по вине самой Чехословакии. Что же касается влияния русской культуры на духовное формирование Т.Г. Масарика, то эта тема отнюдь не исчерпывается настоящей статьей и еще долго будет привлекать внимание исследователей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чанек К. Беседы с Т.Г. Масариком (вступительная статья – В.А. Мартемьянова, О.М. Малевич) // Вопросы истории. М., 1997. № 10–12; 1998. № 1–5.
2. Масарик Т.Г. Эссе о русской литературе / Вступительная статья И. Бернштейн и С. Розановой // Вопросы литературы. 1991. № 8.
3. Абрамов М.А., Лаврик Э.Г. Судьбы либерализма в Европе и России: взгляд Т.Г. Масарика // Вопросы философии. 1997. № 10.
4. Задорожнюк Э.Г. "Подлинная революция – это революция реформистская" (из книги Т.Г. Масарика "Россия и Европа") // Славяноведение. 1997. № 5.
5. Т.Г. Масарик о Ф.М. Достоевском (публикация Э. Задорожнюк) // Вопросы литературы. 1997. № 5.
6. Мейснер Д. Миражи и действительность. Записки эмигранта. М., 1966. С. 133.
7. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. М., 1928–1958.
8. Фирсов Е.Ф. Изменения в оценке Москвой роли ЧСР, Масарика и Бенеша в межвоенный период // Версаль и новая Восточная Европа / Отв. ред. Р.П. Гришина, В.Л. Мальков. М., 1996.
9. Круглый стол "Т.Г. Масарик. К 60-летию со дня смерти первого президента Чехословакии" // Февраль 1948. Москва и Прага. Взгляд через полвека / Отв. ред. академик Г.Н. Севостьянов. М., 1998. Выступления З.С. Ненашевой и Е.Ф. Фирсова.
10. Памяти Т.Г. Масарика. Прага, 1937.
11. Серапионова Е.П. Т.Г. Масарик и "Русская акция" // Власть и интеллигенция. М., 1999. Вып. 3: Культурная политика в странах Центральной и Восточной Европы. 1920–1950-е годы / Отв. ред. А.С. Стыкалин.
12. Heiden K. Adolf Hitler. Eine Biographie. Zürich, 1936–1937. Bd. 1–2.

³ Конрад Гейден (Хайден) – немецкий историк и публицист, после 1933 г. в эмиграции. Вероятно, в конце жизни Масарик ознакомился с только что вышедшей двухтомной биографией Гитлера, принадлежавшей перу Гейдена [12].



© 2000 г. Р.П. ГРИШИНА

КОМИНТЕРН, РКП(б) И КУРС БОЛГАРСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ НА ПОДГОТОВКУ НОВОГО ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1924 ГОДА: ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ

Вопросу о курсе Болгарской компартии (БКП) на подготовку нового вооруженного восстания, принятом на Витошской конференции (май 1924 г.), посвящено так много литературы, что она легко составит отдельный раздел в любом библиографическом сборнике. Долгое время интерпретация трагических событий 1923–1925 гг. в Болгарии происходила исключительно в рамках коминтерновской концепции, созданной в свое время на основе "незыблемых постулатов марксистско-ленинской теории". Действительности в ней соответствовал главным образом внешний контур происшедшего, в то время как механизм действия общественных факторов и политических фигур, методы принятия решений, от чего в большой степени зависел сам характер событий, оставались непроясненными или специально затуманенными. В огромной мере это относилось к таким сюжетам, как роль и участие большевистской Москвы в формировании революционного политического курса БКП, но также к левосектантской, до крайности "несгибаемой" позиции В. Коларова и Г. Димитрова летом 1924 г.

Документация Коминтерна, как известно, была строго засекречена. Лишь во времена хрущевской "оттепели" стали возможны некоторые прорывы. В 1968 г. академик Болгарской академии наук Д. Косев, которому удалось в Москве познакомиться с рядом неизвестных до тех пор документов, выступил инициатором дискуссии среди болгарских историков о сущности революционного кризиса в Болгарии в 1923–1924 гг. Им был поставлен вопрос о неправомерности курса БКП на новое вооруженное восстание, принятого Витошской конференцией [1. С. 403] (см. также [2]). Естественно, что в то время о доле ответственности руководства РКП(б) за принятые решения он не мог говорить с полной определенностью.

Открытие ряда фондов центральных московских архивов (и не только коминтерновских), произошедшее в 1990-е годы (к сожалению, лишь частичное), создает совершенно новые возможности для исследователя, позволяет на качественно ином уровне подойти к изучению истории Коминтерна и входивших в него партий, в частности, к выяснению роли РКП(б) и Коминтерна в делах БКП, приподнять завесу над взаимоотношениями их лидеров.

Гришина Ритта Петровна – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН. Статья является частью исследования, поддержанного грантом РГНФ (проект № 99-01-00220).

Настоящая статья основана на изучении документов доступных фондов Архива Президента РФ, Российского государственного архива социально-политической истории и Архива внешней политики РФ с привлечением некоторых документов из Центрального государственного архива Болгарии. Автор ставит задачу приоткрыть ту сторону деятельности руководящих органов РКП(б), Коминтерна, БКП и Балканской коммунистической федерации (БКФ), которая была нацелена на "оседлание" второй, как полагали коммунисты, волны революции в Европе для их прихода к власти в Болгарии и на Балканах в целом. Данная статья является продолжением исследования, начатого предыдущими работами (см. [3, 4]). Конечно, доступ к некоторым архивным фондам, прежде глубоко засекреченным, а ныне открытым лишь частично и выборочно, позволил решить поставленную задачу только в первом приближении. Это относится и к материалу о специальной Балканской комиссии, которой мы считаем необходимым уделить особое внимание, ибо о ней в историографии до сих пор не известно практически ничего конкретного.

Для того, чтобы понять существо "болгарского вопроса", как он стоял в Москве, в ЦК РКП(б) и Коминтерне, в первой половине 1924 г. – времени, составляющем, на наш взгляд, самостоятельный период в развитии "революционного кризиса" 1923–1924 гг. в Болгарии, необходимо вернуться несколько назад.

Под воздействием левацких взглядов ряда балканских деятелей, пребывавших в Москве в начале 1920-х годов, Балканы в "наступающей второй волне революции" привлекли внимание большевистского руководства как один из наиболее вероятных революционных очагов, откуда революция может перекинуться в остальную Европу. В июне 1922 г. для своего рода разведки был командирован в Софию на IV съезд БКП кандидат в члены ЦК РКП(б) В.П. Милютин (первоначально планировалось, что представительство РКП(б) на этом съезде будет осуществлено на более высоком уровне – К.Б. Радеком, который вместе с Г.Е. Зиновьевым и Н.И. Бухариным входил в тройку большевиков, направленных партией для руководства Коминтерном).

Милютин развернул в Софии активную деятельность с целью выяснения наиболее существенного, как он писал позже в отчете, вопроса своей командировки, а именно: "возможности переворота" в этой стране [5. Д. 90. Л. 42]. Посланец РКП(б) и Коминтерна созвал в Софии специальное заседание ЦК БКП, провел "специальные беседы" с каждым его членом и с некоторыми "наиболее видными товарищами", участвовал в заседании комиссии съезда партии ("50 ответственных товарищей от всех районов Болгарии"), предпринял другие шаги и пришел к выводу: возможности для захвата власти в Болгарии существуют. "По общему мнению, – писал Милютин в своем отчете, – партия в силах взять власть. В силах установить советский строй" [5. Д. 90. Л. 46]. Однако руководство БКП, констатировал он далее, хотя и не отказывается от идеи восстания, осуществлять его не торопится, особенно при опоре только на собственные силы и при отсутствии сильных компартий в других балканских странах; боится, ссылаясь на недавний кровавый опыт венгерской социалистической революции 1919 г., иностранной контрреволюционной интервенции. Болгарские коммунисты полагают, сообщает он, что вопрос о власти должен рассматриваться как общий для всех балканских компартий, для чего необходимо сначала поставить на ноги коммунистические партии Югославии и Румынии [5. Д. 90. Л. 46].

Милютин не мог скрыть недовольства такой затяжкой дела и писал в отчете, что ЦК БКП удерживает массы от активного выступления. Его отчет кончался прямым вопросом к ЦК РКП(б) и руководству Коминтерна: "Важно ли в настоящих условиях произвести дальнейший прорыв капиталистического фронта путем взятия власти в Болгарии? Если да, – предлагал он свой ответ, – нужно использовать теперь те возможности, какие открываются в Болгарии и что может оказать влияние вообще на Балканах. Решение же ЦК болгарской [ком]партии, несомненно, отодвигает вопрос на крайне длительный и неопределенный срок" [5. Д. 90. Л. 52]. Имея в виду проблему удержания советской власти в случае ее установления в Болгарии, Милютин без обиняков говорил о необходимости ее "быстрой поддержки", о "нашей военной помощи"

и о том, что все эти вопросы следует "вырешить технически и стратегически в Советской России" [5. Д. 90. Л. 54].

Непосредственной реакции на доклад-отчет Милютина в документах не обнаруживается, но, несомненно, приведенные им данные не пропали втуне. Руководство же БКП, как проявившее инертность, попало в своего рода опалу: спустя год Политбюро ЦК РКП(б) без ссылки на конкретные причины отказало этой партии в присутствии большевистского делегата на готовившемся в июне 1923 г. V съезде БКП [6. Ф. 17. Оп. 3. Д. 357. Л. 5]. Сам же Милютин в конце 1922 г. был направлен в качестве уполномоченного ИККИ в коминтерновский центр в Вене, где в то время находились также руководящие органы ряда нелегальных балканских компартий и национально-революционных организаций. Видимо, Милютин рассматривался в Москве уже как "специалист" по Балканам. И не случайно: оставшись в Софии после IV съезда БКП и поучаствовав в последовавшей за ним 4-й конференции БКФ, куда входили компартии Болгарии, Югославии¹, Румынии и Греции, Милютин не только окупился в стихию балканских национально-территориальных проблем, но и приобрел позицию, близкую к болгарской, что проявилось уже в его выступлении на конференции [4. С. 165–166].

4-я конференция БКФ примечательна тем, что в докладе возглавлявшего ее Хр. Кабакчиева проецировался новый подход к видению роли национального вопроса для балканского коммунистического движения. В проекте резолюции, предложенном докладчиком, указывалось на македонский вопрос как на конфликтный в отношении между Болгарией и Югославией, вплоть до признания возможности вооруженного столкновения между этими странами. Но что, пожалуй, еще более важно – в резолюции конференции официально было введено понятие "самоопределение балканских народов" [6. Ф. 509. Оп. 1. Д. 9. Л. 49–50].

Следует отметить, что при своем образовании коммунистические партии Королевства СХС, Румынии и Греции (стран, получивших в результате первой мировой войны немалые территориальные приращения, в том числе частично за счет побежденной Болгарии, и создававшихся как государства унитарные, хотя и многонациональные), встали на государственнические позиции и лозунгов самоопределения для каких-либо групп населения не выдвигали. И только в Болгарии съезд ее компартии в 1919 г. записал в резолюции специальный пункт о праве на самоопределение болгарского народа "и всех разделенных на части подчиненных и полунезависимых народов", имея в виду прежде всего население Македонии и Добруджи [7. С. 24]. И вот в 1922 г. 4-я конференция БКФ заявила о необходимости распространить этот принцип на все балканские народы, вошедшие в многонациональные, "созданные империалистами" и сами ставшие "империалистическими" Королевство СХС, Румынию, Грецию. Решение вопроса виделось в создании путем революции Балканской советской федеративной республики.

Милютин вмешался в острый спор, возникший на конференции, раскритиковал позицию КПЮ, считавшей в принципе излишним акцентировать внимание на национальном вопросе, как ошибочную [6. Ф. 509. Оп. 1. Д. 9. Л. 12]. А вскоре в специальном письме в ЦК КПЮ рекомендовал ему использовать в стране «лозунг "самоопределений"» [5. Д. 90. Л. 56]. Приехав в начале 1923 г. в Вену уже в качестве уполномоченного ИККИ, Милютин стал усиленно добиваться от руководства КПЮ принятия лозунга самоопределения народов Королевства СХС на уровне регулярной конференции партии, что ему вместе с секретарем ИККИ Б. Шмералем под угрозой лишения партии финансирования удалось сделать в мае 1923 г. Спустя полгода на 6-й конференции БКФ принцип самоопределения балканских народов был пополнен словами "вплоть до отделения", а затем и до "образования самостоятельного государства",

¹ Социалистическая рабочая партия Югославии (коммунистов) – СРПЮ(к), организованная в апреле 1919 г. на II съезде партии в июне 1920 г., была переименована в Коммунистическую партию Югославии (КПЮ). Хотя югославское государство до 1929 г. официально называлось Королевством сербов, хорватов и словенцев, термин "Югославия" применительно к нему, был преобладающим в коминтерновских кругах.

причем последнее стало относиться и к любому национальному меньшинству, и просто к населению приграничных, спорных балканских территорий [6. Ф. 495. Оп. 2. Д. 22а. Л. 5 об.].

Подобное использование лозунга о праве народов на самоопределение отвечало мотивам того направления внешней политики СССР, которое вытекало из неприятия советским руководством Версальской системы мирных договоров. Оставшись практически за ее бортом, большевистская Россия стала искать союзников среди проигравших мировую войну стран. На Балканах к последним принадлежала Болгария. Заявления, подобные резолюциям 4-й и 6-й конференций БКФ о праве балканских народов на самоопределение и о перспективе создания балканской советской федерации, означали, что БКФ, и в первую очередь болгарские коммунисты, игравшие в ней руководящую роль, признавали готовность участвовать в разрушении версальской государственно-территориальной конфигурации на Балканах: ведь для создания советской (или просоветской) федерации на Балканах необходимо было расстроить внутреннее единство как Королевства СХС, так и Греции, и Румынии. В свою очередь недвусмысленные заявления советских делегаций на международных конференциях 1922–1923 гг. в Генуе и Лозанне о непризнании мирных договоров Версальской системы становились теми нитями, что крепко привязывали БКП к Коминтерну и советскому руководству.

Однако от революционных деклараций БКП до ее конкретных действий дистанция оказывалась весьма большой. Во время государственного переворота 9 июня 1923 г. в Болгарии, который в Москве был оценен как фашистский, а события, с ним связанные, как начало гражданской войны, руководство БКП заняло позицию нейтралитета. Явившись по сути продолжением в основных чертах той линии, что была сформулирована ЦК БКП год назад в ходе переговоров с Милютиным относительно "организации революции" в Болгарии, пассивность руководства БКП, его нежелание вести коммунистов на "борьбу за власть" вызвала настолько сильное раздражение в Москве, что И.В. Сталин, например, предлагал даже применить репрессии к болгарской компартии [5. Д. 90. Л. 89–90] (подробнее см. [3. № 5. С. 184–185]).

Упорство ЦК БКП в отстаивании своей позиции, несмотря на жесткое давление со стороны "штаба мировой революции", как называл себя Коминтерн, продолжалось до середины августа. 17 августа 1923 г. политический секретарь ЦК Хр. Кабакчиев после ряда заседаний в Софии в присутствии А.Е. Абрамовича-Чегуева ("Альбрехта") – венского напарника Милютина, направил наконец в Москву письмо с сообщением, что ЦК БКП принял курс на подготовку вооруженного восстания.

Что же послужило основанием для изменения политической позиции БКП?

Полагаем, не будет ошибкой утверждать, что среди методов давления на руководство БКП, к которым прибег "Альбрехт" с целью заставить Болгарскую компартию отказаться от политики нейтралитета и перейти к революционной практике, использовалась прошедшая через советских представителей в Вене информация о желании установить связи с Москвой как руководителей "земледельческой" эмиграции в Югославии и Чехословакии, так и лидеров македонских организаций, а также о наличии у каждой из этих сил вооруженных отрядов и их готовности к боевым действиям. Это означало, что в грядущих событиях (а что они наступят, коминтерновские деятели в 1923 г. не сомневались) политическая активность будет принадлежать "земледельческим" и македонским организациям, готовым якобы немедленно ввязаться в бой. БКП же в таком случае останется в стороне, "пирог власти" будут делить без нее. В такой ситуации ЦК БКП было решительно предложено изменить политический курс, начать подготовку к вооруженному восстанию, а "земледельцев" и македонцев, ушедших вперед в этом деле, взять себе в союзники [6. Ф. 495. Оп. 2. Д. 22а. Л. 139–141].

Приняв новый курс, БКП уже менее чем через месяц оказалась втянутой в стихийное вооруженное крестьянское выступление и будучи практически неподготовленной вместе с ним потерпела крупное поражение. Выступление, получившее в

историографии название Сентябрьского восстания во главе с В. Коларовым и Г. Димитровым, несмотря на разгром, было положительно оценено в Москве, ибо считалось проявлением главного – революционных возможностей Болгарии. Хотя вслед за болгарским поражением неудачей закончился и германский опыт "красного Октября", председатель ИККИ Г.Е. Зиновьев не устал повторять, что все дело заключается в недостаточной подготовке выступлений и предательстве реформистов и что революция все-таки вот-вот грянет. В Болгарии предстояло готовить новое восстание.

Лично Коларов получил в Москве основательную поддержку со стороны ряда советских руководителей. Советская пресса писала о нем как о вожде болгарского восстания, что, несомненно, поднимало его в собственных глазах. Недаром в многочисленных вырезках из советских газет, хранящихся в личном фонде Коларова в Центральном государственном архиве Болгарии, упоминания о нем в сочетании со словом "вождь" толсто подчеркнуты цветным карандашом.

Действительно, в Москве Коларов теперь выступал как человек, только что вышедший из боя, и будучи здесь как бы главным представителем "героической Болгарской компартии", фактически перемещался на роль первого лица в ней. Отступать ему было некуда, надо было готовить БКП к реваншу – на повестку дня вставал вопрос о новом вооруженном восстании. Позже Коларов скажет: "Пройдя через огонь, мы стали смелыми до безрассудства. Бомба, яд, расстрел – вот наша новая психология. В этом ли состоит левый уклон, это вещи крайне необходимые для окончательной победы; против этого может выступать только тот, кто не думает о революции" [6. Ф. 495. Оп. 282. Д. 8. Л. 64].

И в самом деле, в Москве еще до формального принятия соответствующими органами решения о продолжении курса БКП на вооруженное восстание началась никем официально не санкционированная его подготовка. По каким линиям и кем она велась?

Во-первых, по военной линии. Подробных данных на сей счет обнаруживается не так много, но о закладке фундамента в этом отношении свидетельствовал сам Коларов. 8 января 1924 г. в письме к Димитрову как члену Заграничного комитета ЦК БКП в Вене он отмечал: "Наших эмигрантов в Москве минимум 100 человек... Приехавшие сюда уже проходят месячный курс военного дела: будут практически изучать пулеметное дело, автоматические ружья, гранатометы и пр., а также технику гражданской войны. Все, в том числе дружбаши (простонародное название членов Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС). – Р.Г.) (их около десятка), сильно увлечены занятиями. Кроме того, 12 молодых людей учатся на трехмесячных курсах красных командиров" [8. Ф. 3. Оп. 4. Д. 55. Л. 6–6 об.].

Коларов стремился включить в процесс подготовки революционных событий на Балканах и некоторые советские спецслужбы, во всяком случае, войти с ними в контакт, что также следует из его переписки. Так, в марте 1924 г. Коларов сообщал Милютину в Вену о том, что "с компетентными русскими товарищами согласились (договорились. – Р.Г.) расходы по разведке (всей разведке) и связи целиком перевести в специальный бюджет и таким образом облегчить общий партийный бюджет". Коларов писал также о намерении осуществить подобную операцию в отношении КПЮ: "Надо партийную и специальную связь объединить, равно как и партийную и специальную работу в Югославии" [6. Ф. 509. Оп. 1. Д. 37. Л. 135–135 об.].

Во-вторых, по линии политической и идеологической. В ноябре 1923 г. в Москве была проведена важная политико-идеологическая акция – уже упомянутая 6-я конференция БКФ. В ней, помимо представителей компартий Болгарии, Югославии, Румынии, Греции участвовала солидная советская делегация из числа руководителей Коминтерна и РКП(б) – Бухарин, Варский, Милютин, Петровский, Грамши, Цеткин, Пятницкий. При столь мощной опеке делегаты балканских компартий приняли серию решений переломного для балканского коммунистического движения значения, в том числе развернутые резолюции по национальному и крестьянскому вопросам для каждой из партий. Общий их смысл состоял в том, что в целях революции, которая,

дескать, вот-вот произойдет на Балканах, необходимо использовать крестьянские и национальные организации, для чего следует *разжигать* (курсив мой. – Р.Г.) недовольство крестьянской бедноты, с одной стороны, и национальные конфликты – с другой. В одном из коминтерновских материалов от 4 декабря 1923 г. откровенно говорилось: "Именно национальные конфликты и создают благоприятную почву для революционного движения. Не отодвигать национальные конфликты на задний план, не затушевывать их, а наоборот подчеркивать и обострять, переносить их на классовую почву" [6. Ф. 509. Оп. 1. Д. 28. Л. 184]. Отсюда следовала постановка новой для балканских компартий тактической задачи – проникать в национальные и крестьянские организации для последующего овладения их руководством и подчинения таким образом национального и крестьянского движения коммунистическим лидерам. Правда, местные балканские коммунистические деятели, хотя и проголосовали за предложенные резолюции, однако вовсе не были готовы столь радикально перестроиться: ведь до тех пор коммунистическая пропаганда относилась к национальному вопросу к прерогативе действий буржуазии.

В-третьих, по линии "обеспечения" БКП политическими союзниками в лице, с одной стороны, македонских организаций, Внутренней македонской революционной организации (ВМРО) в первую очередь, а с другой – "земледельцев". При доминирующей роли БКП, разумеется.

Реализация идеи являлась архисложной, поскольку отношения между ВМРО и "земледельцами", например, были не просто враждебными, но, так сказать, смертельно враждебными. Да и отношение самих болгарских коммунистов к ВМРО, считавшейся в их среде буржуазно-националистической, реакционной, а то и фашистской организацией, было не намного лучше.

Наиболее трудной была македонская проблема. Случайно или нет, но два важных шага с целью эксплуатации ее в "интересах революции" были сделаны в Москве почти одновременно: один из них – революционно-коммунистическая постановка македонского вопроса на 6-й конференции БКФ; другой – возобновление советской стороной переговоров с лидером ВМРО Т. Александровым о "взаимовыгодном" союзе. Что касается первого шага, то "в противовес стремлениям сербской и болгарской буржуазии сделать Македонию дополнением Сербии или, соответственно, Болгарии", говорилось в соответствующей резолюции, 6-я конференция БКФ признавала Македонию географическим и экономическим единством, интересам которого не соответствует разделение на части или присоединение к одному из борющихся за македонские земли государств.

Считая, что в Македонии существует нераспутываемый клубок болгар, сербов, греков, албанцев и других, что у этого "македонского населения всех национальностей" имеется представление о его общих интересах, 6-я конференция выдвигала лозунги "Независимой Македонии" и "Македонии для македонцев", создание которой предполагалось путем откола от Югославии, Греции и Болгарии соответствующих македонских земель и последующего их объединения. На эту карту было поставлено, казалось, все возможное и невозможное. Например, делегаты БКП согласились внести в резолюцию по национальному вопросу в Болгарии такой пункт: "Петричский округ (территория, отошедшая к Болгарии в 1912–1913 гг. – Р.Г.) принадлежит к Македонии, которую ее население воспринимает как единую, отдельную страну. БКП признает за этим населением полное право отделиться от Болгарии и войти в состав Македонского государства, либо создать автономию и управлять ею, либо обособиться в отдельную независимую республику, либо, наконец, остаться в границах Болгарского государства как его части" [6. Ф. 509. Оп. 1. Д. 24. Л. 99].

"Стихия самоопределений" вплоть до отделения и образования новых самостоятельных государств на Балканах, а по существу провоцирование сепаратизма, была распространена коммунистами на все балканские государства, касалась всех более или менее компактно проживающих меньшинств, каждое из которых объявлялось обладающим правом отделиться от матери-родины.

В целом следует признать, что 6-я конференция БКФ прошла под знаком торжества болгарской концепции устройства будущей Балканской федеративной советской республики как состоящей из множества автономий или самостоятельных государств, включая сложенную из трех слиянных частей Македонию. Можно предположить, что столь смелые решения, вплоть до готовности отдать собственные земли ради объединенной Македонии, предлагались руководством БКП исходя из его ведущей роли в БКФ и тесных контактов с большевистской и коминтерновской верхушкой. Все это, вероятно, питало надежды болгарских коммунистических лидеров на их главенство и в грядущем государственном объединении – Балканской федерации.

Что касается второго шага, то следует признать, что лозунг "Македония для македонцев" как создающий основу для предметных переговоров с лидером ВМРО Т. Александровым, в свою очередь искавшим новых союзников и новых подходов для решения македонского вопроса (хотя, разумеется, без всякой идеологической "рабоче-крестьянской" подкладки), оказывался нужным и большевистской Москве. В декабре 1923 г., когда из красной столицы еще только рассылали в ЦК балканских компартий окончательно сформулированные резолюции 6-й конференции БКФ, советский агент Б.Я. Шпак, действовавший в Болгарии под псевдонимом "Базаров-Андреев" [10. С. 311], уже провел детальный разговор с Александровым об условиях, на которых тот готов был бы сотрудничать с Москвой. Не вдаваясь здесь в подробный анализ неподписанного доклада², отметим два важнейших момента в изложенной в нем постановке Александровым вопроса о сотрудничестве с Москвой. Прежде всего, лидер ВМРО четко определил свое отношение к возможному восстанию болгарских коммунистов в их союзе с БЗНС, как отрицательное, заявив: "Победа коммунистов привела бы с собой земледельцев. Всякий мятеж только на руку Югославии, чтобы ворваться в Болгарию, занять Перник и болгарскую Македонию, и значит, всякое другое отношение ВМРО к восстанию – самоистребление" [9. Ф. 04. Оп. 7. П. 61. Д. 834. Л. 30]. Более того, Александров просил Шпака предупредить Москву, что ВМРО в случае нового восстания окажет правительству Цанкова моральную поддержку, а если коммунистические и "земледельческие" отряды захватят приграничную с Югославией территорию, ВМРО будет бороться против них с оружием в руках, чтобы спасти свое оружие, запасы, средства [9. Ф. 04. Оп. 7. П. 61. Д. 834. Л. 31].

Александров не отрицал возможности "общих путей работы с Болгарской компартией", но лишь при посредничестве СССР и "при полнейшем соблюдении конспирации такового соглашения". Характерно, что в конце разговора Александров еще раз специально напомнил: "Яркое выступление ВМРО ныне за компартию невозможно, ибо будет нелояльным по отношению к болгарскому правительству, стране и преждевременно раскроет карты" [9. Ф. 04. Оп. 7. П. 61. Д. 834. Л. 33 об.].

Спустя короткое время в Москву был направлен помеченный 30 декабря 1923 г. и подписанный Александровым как членом ЦК ВМРО "Проект соглашения между ВМРО и Русской Советской республикой" [6. Ф. 509. Оп. 1. Д. 35. Л. 27а–28], из содержания которого можно заключить, что единственным пунктом соприкосновения интересов ВМРО и Москвы был сам лозунг "Македония для македонцев", при явном несхождении сторон в методах его реализации. Александров, в частности, требовал, чтобы СССР признал ВМРО в качестве "единственной выразительницы суверенной воли Македонии".

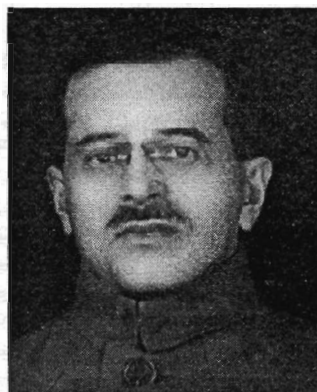
Рассмотрение хода переговоров между Москвой и ВМРО не входит в нашу непосредственную задачу. Важно указать лишь, что именно в связи с поступившими в Москву македонскими документами 11 января 1924 г. на совещание по "македонскому вопросу" собралась группа представителей высоких советских и коминтерновских инстанций в составе М.А. Трилисера – начальника Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ, И.С. Уншлихта – члена Реввоенсовета СССР и начальника снабжения

² Согласно уточненным данным, автором доклада являлся, по-видимому, Шпак, а не Гольдштейн, как нами считалось ранее (см.: [4. С. 196–197]), это же утверждение повторено в сокращенном варианте указанной статьи в журнале: Македонски преглед, София, 1999. Кн. 4. С. 123–124.

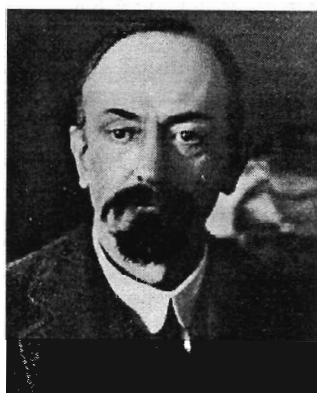
БАЛКАНСКАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1924 г.



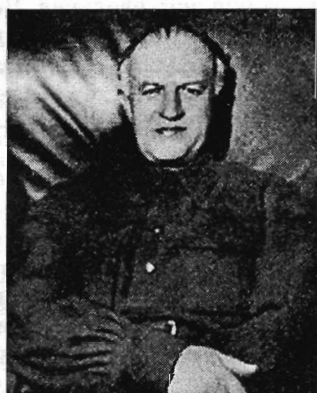
М.А. Трилиссер (1883–1941)



И.С. Уншлихт (1879–1938)



Г.В. Чичерин (1872–1936)



В. Коларов (1877–1950)



И.А. Пятницкий (1882–1938)



В.П. Милогутин (1884–1937)

РККА; Г.В. Чичерина – наркома иностранных дел СССР, И.А. Пятницкого – заведующего Орготделом ИККИ и В. Коларова – генерального секретаря ИККИ и одновременно члена Заграничного ЦК БКП.

Совещанием по "македонскому вопросу" были заложены основы важной комиссии по актуальным балканским проблемам. Высокий ранг основателей комиссии свидетельствовал о заинтересованности представляемых ими властных советских и коминтерновских структур в комплексном подходе к решению болгаро-балканских проблем с точки зрения революционных задач, предзнаменовавшихся региону. В частности, на том же совещании были сформулированы именно те три основных вопроса, которые в ближайшие месяцы оказались для БКП самыми острыми и дискуссионными: это, во-первых, переговоры с автономистами, характер и содержание требований к ним в ответ на обещание моральной и материальной помощи со стороны СССР, во-вторых, дилемма: развивать или нет партизанское движение в Болгарии, и если развивать, то как и когда, и в-третьих, вопрос о создании блока политических сил для борьбы против правительства Цанкова, центром которого должны были стать коммунисты, а флангами – "македонцы и земледельцы".

Комиссия не имела зафиксированного статуса (во всяком случае документов об этом не обнаруживается). На протяжении первой половины 1924 г. она принимала разные названия ("Македонская", "Болгарская", "Балканская"), главенство в ней, возможно, принадлежало Трилиссеру, однако по частоте упоминаний в доступных документах главным ее "героем" можно было бы назвать Уншлихта. Поэтому несколько слов о нем.

Иосиф Станиславович Уншлихт (1879–1938), псевдоним "Юровский", может быть отнесен к когорте "пламенных революционеров", считавших революцию делом своей жизни и, что, по-видимому, закономерно, безжалостно "стеденных" потом этой ненасытной гидрой. Вступил в РСДРП в 1900 г., участвовал в революции 1905–1907 гг. в Польше, в октябре 1917 г. был членом Военно-революционного комитета в Петрограде. В 1919 г. стал наркомом по военным делам Литовско-Белорусской ССР. В 1921–1923 гг. он уже заместитель председателя ВЧК/ГПУ (подробнее см.: [10. С. 423]). Сотрудничал с Коминтерном, в декабре 1922 г. вошел в состав Постоянной комиссии Орготдела ИККИ, затем был членом Постоянной военной комиссии ИККИ. В августе-сентябре 1923 г., когда большевистское руководство в порядке подготовки к "красному Октябрю" в Германии принимало в СССР меры политического, экономического, идеологического, а также военного характера на случай возможного втягивания Советского Союза в европейскую революционную войну, Уншлихт был введен в состав Реввоенсовета, и с этого времени работа по военной линии стала для него основной. С каким опытом пришел Уншлихт в РВС, несколько проясняет, думаем, документ о совещании представителей ГПУ, Разведупра РККА и других военных структур, состоявшемся 12 мая 1922 г. и посвященном вопросу об охране границ и активной разведке, на котором Уншлихт председательствовал [11. Л. 65]. Под активной разведкой разумелось тогда создание силами советских спецслужб в прилегающих к Советской России Румынии, Польше, и некоторых других странах диверсионных военно-подрывных групп, организация их связи и снабжения. Когда в феврале 1925 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение в связи с изменением международной обстановки ликвидировать активную разведку в том виде, в котором она существовала, в постановление был внесен пункт, весьма красноречиво характеризовавший ее суть, а именно: "б) Ни в одной стране не должно быть наших активных боевых групп, производящих боевые акты и получающих от нас непосредственно средства, указания и руководство" [6. Ф. 17. Оп. 162. Д. 2. Л. 78]. Как увидим далее, элементы опыта активной разведки были использованы Балканской комиссией при составлении плана создания в Болгарии сети нелегальной военной организации (НВО).

Один из центральных эпизодов в истории БКП в аспекте ее курса на новое вооруженное восстание – заседание Президиума ИККИ 29 января – 14 февраля 1924 г. с

обсуждением болгарского вопроса. Отослав читателя к нашей статье, где частично рассмотрен этот сюжет [3], здесь заметим, что обсуждение болгарских проблем происходило в Москве в сложное для большевистских руководителей время – практически сразу после смерти В.И. Ленина, события, с которым им еще предстояло психологически освоиться и которое реально поставило перед ними вопросы о власти в собственной стране, о ее конкретных носителях. На некоторой, как нам кажется, отстраненности советских участников заседания Президиума ИККИ от глубокого вникания в болгарские дела и отношения к ним как в известной мере второстепенным могла сказаться также усталость от предшествовавшего многодневного выяснения причин поражения "германского Октября" и поиска ответственного за него "стрелочника", а также и напряженная борьба против Л.Д. Троцкого и так называемой "оппозиции 46-ти" в РКП(б).

Ситуация, можно сказать, просто располагала к тому, чтобы наибольшее влияние на решения по болгарскому вопросу оказали сами болгары, хотя составившие болгарскую делегацию на заседаниях Президиума Т. Луканов, Н. Исаков и Г. Димитров официально правом решающего голоса не обладали. Первые два принадлежали к "умеренным" в БКП, но оба уже с начала 1924 г. находились в Москве и, надо полагать, за прошедший месяц вполне прониклись здешней накаленной революционной политической атмосферой; к тому же они воочию могли наблюдать, в какой жесткой форме шло обсуждение германского поражения (их ближайший соратник, Коларов, присутствовал на всех заседаниях германской комиссии, однако сам участия в политических диспутах не принимал). Определенное давление им пришлось испытать и со стороны ультралевых собственной партии, показателем чего могут служить, например, три многостраничных письма за подписью "Член Загранкомитета БКП" от конкретно не установленного автора, с чрезвычайно подробным планом организации будущего восстания, перестройки работы БКП в свете этой задачи и т.п., направленных из Вены в Москву с таким расчетом, чтобы они подоспели ко времени обсуждения болгарского вопроса [6. Ф. 509. Оп. 1. Д. 28. Л. 236–244] (частично опубл. [12. С. 5–8]).

С докладом от имени ЦК БКП на заседании Президиума ИККИ выступал Исаков. Трудно сказать, насколько подробно участники обсуждения познакомились с содержанием этого доклада: он занимал 48 страниц машинописного текста на французском языке [6. Ф. 495. Оп. 2. Д. 27. Л. 5–53]. Во всяком случае по заданию Зиновьева было сделано небольшое изложение доклада на русском языке, разосланное затем членам ЦК РКП(б), делегированным на обсуждение болгарского вопроса в Коминтерне. Зиновьев предполагал также снабдить этим документом всех членов ЦК РКП(б) и Президиума ЦКК [6. Ф. 495. Оп. 19. Д. 478. Л. 3].

Основное обсуждение болгарского вопроса происходило в специально избранных политической комиссии во главе с Коларовым и организационной комиссии во главе с Пятницким [6. Ф. Оп. 2. Д. 27. Л. 3].

Общая тональность обсуждения, согласно доступным документам, была такова, будто никакой альтернативы новому восстанию и установлению рабоче-крестьянской власти в Болгарии не существовало. Правда, некоторые сомнения высказали участвовавшие в работе Президиума ИККИ итальянец У. Террачини и немец Р. Шюллер, но они немедленно были опровергнуты Зиновьевым.

Между тем конкретизация деталей курса на подготовку нового восстания и выработка постановлений оказывались нелегким делом, дискуссия затягивалась. 14 февраля, в отсутствие двух главных фигур – Зиновьева и Радека, Президиум ИККИ только "в принципе" принял политическую и организационную резолюции по болгарскому вопросу, для окончательного редактирования которых была составлена специальная комиссия (Коларов, Лозовский, Цеткин) [6. Ф. 495. Оп. 2. Д. 27а. Л. 1–2]. Характерно, что судя по сохранившемуся варианту политической резолюции, написанному от руки Коларовым, именно его проект без особых изменений и стал резолюцией Президиума ИККИ.

В резолюции говорилось, что правительство Цанкова "может быть уничтожено и на его месте создано рабоче-крестьянское правительство только посредством *всеобщего вооруженного восстания*, что вооруженное восстание *неизбежно* и что массы должны напрячь все свои силы, чтобы можно было его повести быстро и успешно" [6. Ф. 495. Оп. 2. Д. 27а. Л. 19]. При этом вся вторая половина резолюции была посвящена вопросам военно-технической подготовки восстания. Так, пункт 8 гласил: "Приступить немедленно к военно-технической подготовке вооруженного восстания, используя все уроки июня и сентября (комитетами, связями, боевыми группами, командным составом, вооружением, планом мобилизации масс, планом действий, мерами охранения руководящих органов от арестов, тактическими приемами и пр.)" [6. Ф. 495. Оп. 2. Д. 27а. Л. 24].

Среди других характерных моментов укажем на пункт 9, где говорилось о необходимости установить общую политическую линию БКП и других балканских компартий по македонскому, фракийскому и добруджанскому вопросам и прийти к соглашению между собой для координации действий при вооруженном восстании, в частности, для того, чтобы помешать оказанию помощи болгарским властям со стороны правительств соседних балканских государств.

Пункты резолюции, где речь шла о политических союзниках БКП, были посвящены главным образом крестьянству как одной из движущих сил восстания и его партии – БЗНС. О национально-революционном движении, которое коммунистам рекомендовалось поддерживать, говорилось только в общей форме и без какого-либо упоминания ВМРО и соглашения с нею. Внимание к идее пресловутого "тройственного" союза, осью которого предполагалось быть БКП, а флангами – БЗНС и ВМРО, идее, выдвигавшейся российскими участниками обсуждения и мало приемлемой для болгарских коммунистов (подробнее см. [3. № 6]), выразилось в резолюции в весьма невнятной формуле: "БКП должна попытаться прийти к какому-нибудь соглашению, хотя бы по самым непосредственным задачам македонского и других вопросов, с Болгарским Земледельческим союзом" [6. Ф. 495. Оп. 2. Д. 27а. Л. 20]. Таким образом, документ фиксировал, хотя и косвенно, расхождение руководства большевиков и руководства БКП в вопросе о переговорах с Александровым.

В целом политическая резолюция Президиума ИККИ от 14 февраля 1924 г., оставляя многие важные детали "болгарского вопроса" непроработанными, ориентировала БКП в качестве главного направления ее работы на развязывание гражданской войны в стране. Конкретные сроки восстания в резолюции не указывались, но все рекомендации исходили из установки о его неизбежности. Нерешенные до конца вопросы должна была выяснить практика. Главным считалось начать, а дальше действовать по обстоятельствам: опыт октябрьского переворота в России все еще оставался живым делом и примером.

Как раз эти недорешенные на Президиуме ИККИ вопросы взорвали Балканскую комиссию. Именно 14 февраля ее члены Коларов, Димитров, Трилиссер, Уншлихт, Пятницкий, Милютин и Чичерин приняли постановление о необходимости поставить в Политбюро ЦК РКП(б) вопрос о разногласиях в комиссии. Об их существовании в документе не говорилось, лишь упоминался македонский вопрос и желание НКИД опубликовать "сообщение о македонских делах" [9. Ф. 04. Оп. 7. Д. 831. Л. 41а]. По-видимому, Чичерин занимал особую позицию и, возможно, – не только он. Переговоры с лидером ВМРО Александровым, ведшиеся советской стороной, волновали, несомненно, Коларова, но, как можно судить по некоторым косвенным данным, также и Уншлихта.

Здесь нельзя не упомянуть о записке от 4 марта, адресованной Коларову неким "Борисом". В ней автор, говоря о людях, хорошо информированных о болгарских делах, к которым относил и себя, заявлял, что они выступают против акцента на общевосточную революцию, т.е., как можно понять из дальнейшего, выступают против революции, в которой будут участвовать балканские национал-революционные организации, а за нее, дескать, ратуют те, кто на деле является плохо осведомленным;

иначе восстание в Болгарии, рассуждал "Борис", будет только частью этой революции. Мы же, продолжал он, за восстание в Болгарии "под гегемонией коммунистов", что откроет новые горизонты для революционных действий на Балканах. К тому же "на Балканах без балканских коммунистов делать революцию нельзя, а балканские коммунисты это – БКП, ибо других коммунистов на Балканах почти нет" [8. Ф. 147. Оп. 3. Д. 288. Л. 1–2].

В архивной аннотации к записке указывается, полагаем, ошибочно, что "Борис" – это Ж. Натан (известный позже болгарский коммунистический деятель). Между тем из биографии Натана известно, что в Москве он впервые появился только в 1926 г., а то, что записка написана в Москве, – не вызывает сомнений. Кроме того, составлена она на чистом русском языке без болгаризмов; к тому же с обозначениями, присущими скорее всего разведчикам: "Сжечь по прочтении!!!". Характерно также свободное владение автором политической информацией: завтра, писал он Коларову, "должно состояться совещание по балканскому вопросу" с участием Чичерина, Менжинского, Раковского, Трилессера и др. «Боюсь, – продолжал "Борис", – что большинство этого собрания, плохо информированное о балканских делах, может стать на ложную позицию». Как видно, участия Уншлихта в совещании он не ожидал и опасался, что сил сторонников позиции последнего могло не хватить. Посему "Борис" уверенно наставлял Коларова: "Я полагаю, – писал он, – что Вам нужно сегодня же обо всем этом переговорить с тов. Раковским. Сейчас он в Наркоминделе у Чичерина или Литвинова. Надо обеспечить его поддержку завтра".

Можно было бы оставить этого "Бориса" в покое, если бы с 18 марта в Вене не появился еще один, также неидентифицированный до сих пор "Борис", который прибыл сюда для непосредственного участия в подготовке восстания в Болгарии и откуда затем направлял свои донесения Уншлихту. Содержание этих донесений и сам характер заграничной деятельности "Бориса" (о чем ниже) позволяет, на наш взгляд, считать обоих носителей этого псевдонима одним и тем же лицом и более того – выдвинуть предположение о том, что речь идет о Борисе Николаевиче Иванове-Краснославском – советском разведчике, который еще в 1922 г. участвовал в операции по разложению врангелевцев в Болгарии (а одним из руководителей операции в Москве был тот же Уншлихт), что и могло дать ему основания причислить себя в упомянутой записке к людям, хорошо знающим Болгарию. Из неопубликованной рукописи исследователя истории советских спецслужб В.Я. Кочика "Русские против русских. Болгарский вариант. 1919–1923 гг." явствует, что Б.Н. Иванов – бывший штабс-капитан российской армии, участвовал в Октябрьской революции и в гражданской войне, был командующим Закаспийским фронтом Туркестанской республики, затем начальником штаба Морской экспедиционной дивизии и слушателем Военной академии РККА, со старшего курса которой в 1921 г. был командирован для исполнения спецзаданий за границу, где находился до лета 1924 г. Затем работал как сотрудник ИНО ОГПУ за рубежом и опять в Разведупре РККА. В 1937 г. репрессирован, расстрелян в 1938, позже реабилитирован [10. С. 352–353].

Если наше предположение верно и "Борис" – автор записки может быть отнесен к людям, связанным по роду деятельности с Уншлихтом, то можно сделать вывод, что одним из пунктов разногласий внутри Балканской комиссии было несовпадение взглядов Трилессера, руководившего переговорами с "македонцами", и Уншлихта, нацеленного в первую очередь на непосредственную работу с БКП по подготовке вооруженного восстания³. С Уншлихтом во многом был солидарен Коларов. В таком

³ В Софии в Государственном архиве сохранились некоторые рукописные записки Коларова, сделанные им во время заседаний Президиума ИККИ 29 января – 14 февраля 1924 г. Из них, в частности, следует, что Уншлихт (официально не был членом российской делегации на обсуждении болгарского вопроса, но был привлечен к работе в организационной комиссии), выступая в дискуссии, заявил о необходимости иметь в Болгарии нелегальную компартию, провести чистку ее рядов и санкций (вероятно, против предателей и отступников). Он говорил также о постановке в стране конспиративной работы (рядом с записью об этом шло уточнение: "специальное совещание") [8. Д. 101. Л. 277].

случае разбирательство на уровне Политбюро ЦК РКП(б) показалось членам Балканской комиссии действительно необходимым.

Между тем 19 февраля Балканская комиссия, собравшись в узком составе, выработала план создания сети НВО в Болгарии и смету ее финансирования. В сохранившемся протоколе совещания его участники не названы, указано лишь, что присутствовали четыре человека. Судя по содержанию документа, эти четверо принадлежали к силовым структурам и были связаны, главным образом, с разведкой и вооружением. Материал отличался тщательной проработкой.

В частности, в протоколе говорилось о "введении в ранее принятую схему четырех областных центров НВО" (в Софии, Пловдиве, Плевне и Варне). Структура всей организации НВО Болгарской компартии предусматривала следующую иерархию: центральный ответственный военный организатор, его технический помощник, начальник разведки, начальник снабжения (оружие), разъездной инструктор. Каждому из них предназначалось по 30 долларов в месяц, плюс 125 долларов на орграсходы. По 25 долларов в месяц предусматривалось для четырех областных и 15 окружных военных организаторов, а также и для подчиненных им исполнителей, расположенных в той же иерархической системе, что и в первом случае.

Статья 2 сметы была посвящена "подрывной организации", куда относились: начальник подрывной организации, находившийся в Вене; его помощник (для разъездов) и десять "пятерок" для Болгарии. В ст. 3 – "Разведывательная организация" – указывались, помимо ее начальника, три курьера и по два резидента для Болгарии и Сербии (т.е. Югославии), причем если услуги каждого резидента для Болгарии оценивались в 35 долларов в месяц, то такого же работника по Югославии – в 60 долларов.

Далее в смете располагалась статья, называвшаяся "Организация по разложению сил противника", с таким рубриками: "Агенты среди земледельцев (3 чел. по 60 долларов)"; "Болгарский сотрудник для полиции"; "Сотрудник по врангелевцам"; "На подкуп полиции и жандармерии (для подкупа 3-х начальников полиции и жандармерии и 8 провинциальных полицейских начальников)"; "Для македонцев"; "На армию". Специальный пункт был предусмотрен для "Венского центра", в котором отдельными строками выделялись "представитель ЦК БКП" и "два сотрудника"; каждому из них предназначалось по 100 долларов. По всем пяти указанным статьям особо обозначались суммы на "организационные расходы".

Протокол, напечатанный всего в четырех экземплярах, предполагал ассигнование средств "по болгарской работе" из расчета на шесть месяцев, а сверх того, на "переброску оружия из России в Болгарию и распределение его внутри Болгарии (10 000 винтовок, 200 пулеметов, 5 млн патронов)" – еще не менее 5 тыс. долларов, так что всего "на работу по организации восстания в Болгарии" необходимо было отпустить 56 600 долларов [5. Д. 91. Л. 6–8].

Однако действительность оказалась сложнее бумажных конструкций.

(Окончание в следующем номере)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Косев Д.* Выступление в дискуссии // Известия на Института по история на БКП. София, 1969. Т. 20.
2. *Косев Д.* Положението в България и проблемът за курса на БКП след Септемврийското въстание през 1923 г. (до април 1925 г.) // Известия на Българското историческо дружество. София, 1970. Т. 27.
3. *Гришина Р.П.* Сентябрьское восстание 1923 г. в Болгарии в свете новых документов // Новая и новейшая история. 1996. № 5, 6.
4. *Гришина Р.П.* Формирование взгляда на македонский вопрос в большевистской Москве. 1922–1924 гг. (По документам российских архивов) // Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999.

- 5. Архив Президента РФ. Ф. 3. Оп. 20.
6. Российский государственный архив социально-политической истории.
7. БКП в резолюции и решения. София, 1957. Т. 2.
8. Централен държавен архив (София).
9. Архив внешней политики РФ.
10. *Колпакиди А., Прохоров Д.* Империя ГРУ. Очерки истории российской военной разведки. М., 2000. Кн. 2.
11. Российский государственный военный архив. Ф. 33998. Оп. 2. Д. 444.
12. Славяноведение. 1994. № 5.

© 2000 г. *Е.П. СЕРАПИОНОВА*

ЧЕШСКИЕ ЗЕМЛИ, ЧЕХИ И НЕМЕЦКИЙ ВОПРОС (1918–1945 годы)

28 октября 1918 г. было провозглашено и оформлено специальным законом создание независимого Чехословацкого государства. 30 октября словацкие политические представители высказались за присоединение к нему [1]. Окончательные границы нового государства были определены в 1919 г. Версальским, Сен-Жерменским и Трианонским мирными договорами и явились результатом комбинации трех принципов: национального самоопределения, исторического права и экономической самостоятельности [2. С. 26], которые были дополнены стратегическими соображениями.

Согласно переписи населения, проведенной в феврале 1921 г., в молодой республике проживало 13 613 172 человека, из них 8 760 937 чехов и словаков, 3 123 568 немцев, 745 431 венгр, 461 849 "русских" (т.е. собственно русских, украинцев, белорусов, подкарпатских русинов), 180 855 евреев, 75 863 поляка, 13 974 румына, 8446 цыган, 2108 югославян и 1343 человека других национальностей [3]. Таким образом, самым многочисленным национальным меньшинством в ЧСР являлись немцы, а наиболее важным национальным вопросом являлся немецкий.

Отношения между чехами и немцами в межвоенный период трудно уяснить, не зная истории вопроса. До 1918 г. Чешские земли, Чехия, Моравия и Силезия, входили в состав австрийской части Габсбургской монархии (Цислейтании). На протяжении XIX – начала XX в. чехи боролись за свои национальные права, за равноправие с немцами и венграми в рамках Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи. Согласно Конституции 1867 г., все 17 королевств и земель Цислейтании представляли собой отдельные государственные единицы, объединенные представительством в Рейхсрате. Земли имели собственные законодательные учреждения – сеймы, правда с весьма ограниченной компетентностью. В конце XIX – начале XX в. Чешские земли пользовались определенным самоуправлением, их политические партии были представлены в австрийском Рейхсрате. На землях Чешской короны в течение веков компактно проживали немцы, образуя национально однородные области. Если верить подсчетам доктора философии, представителя Санкт-Петербургского телеграфного агентства в Вене, а затем сотрудника газеты "Новое время" Д.Н. Вергуна, в начале XX в. немцы составляли 37% населения Чехии, 28% – Моравии и 45% – Силезии. На Чешских землях существовало более тысячи немецких церквей, около 3,5 тыс. немецких школ, выходили 424 газеты, действовали 26 театров, 12 банков. 81% крупных промышленных предприятий Чехии принадлежал немцам и лишь 19% – чехам.

Предпринимательский капитал немцев превышал чешский в 11 раз. Немецкий язык являлся официальным в администрации, суде и школе [4].

Чешско-немецкие отношения в Чешских землях складывались весьма непросто. Накануне первой мировой войны они характеризовались острым противостоянием, в том числе в австрийском парламенте и чешском Сейме, работа которого с осени 1908 г. была парализована обструкцией немецких депутатов. В 1910 г. австрийское правительство разработало проект нового разделения Чехии на округа: немецкие, чешские и смешанные. При этом некоторые вопросы из компетенции центральных земских властей должны были перейти к окружным. Для чехов такой оборот событий был бы весьма нежелателен, так как ослаблял земские власти, отчасти и Сейм. Система "окружных правительств" вела бы к дальнейшему укреплению в немецких округах национального сепаратизма, подготавливающего раздел королевства на две части, а также поглощению полумиллионного чешского населения, жившего среди немцев. Чехи весьма решительно выступили против правительственного проекта.

Чешско-немецкие противоречия затрудняли, а иногда делали просто невозможной работу чешского Сейма. В связи с этим была даже создана согласительная комиссия, обсуждавшая такие спорные вопросы, как равноправное использование языков в правительственных учреждениях Чехии, пропорциональное замещение правительственных должностей в королевстве лицами обеих национальностей, новое разделение королевства на национальные и смешанные округа и охрана национальных меньшинств (последнее было очень важно для чехов в вопросе о чешских школах в немецких округах). Тогда к окончательному соглашению стороны так и не пришли, что, в частности, свидетельствует о степени накала страстей в национальном вопросе [5]. Кризис в деятельности чешского Сейма привел к его роспуску в 1913 г. Весной 1914 г. был распущен и австрийский Рейхсрат.

Выдвинутый в годы войны американским президентом В. Вильсоном лозунг о самоопределении наций не коснулся некоторых национальностей, а тем более национальных меньшинств, каковыми стали после образования Чехословакии проживавшие на ее территории немцы. Победившие страны Согласия не склонны были учитывать стремления австрийских, чешских, моравских и силезских немцев к объединению с Германией. В Австрии же идея аншлюса, присоединения к Германии, осенью 1918 г. рассматривалась весьма серьезно. 21 октября 1918 г. немецкие депутаты Австро-Венгрии заявили о создании Немецкой Австрии.

Сразу же после провозглашения самостоятельности Чехословакии четыре провинции, населенные преимущественно судетскими немцами – Дойчбемен, Судетенланд, Дойчаудмерен и Бемервальдгау – заявили о своей независимости от вновь образованного государства. Все они провозгласили себя частью Немецкой Австрии, упомянув о подобных же притязаниях Иглавы, Брно и Оломоуца и требуя придания международного статуса Остравскому краю. Центром движения за самоопределение немцев стала Немецкая Богемия (Дойчбемен). Там был создан парламент провинции – ландтаг и сформировано коалиционное правительство. Оно организовало управление провинцией и ее снабжение. Но ввиду прекращения поставок продовольствия из чешских районов, правительство Немецкой Богемии было вынуждено пойти на переговоры с чехословацким руководством. В конце октября 1918 г. глава правительства Р. Лодгман, а в начале ноября его вице-председатель Й. Зелигер провели в Праге переговоры с представителями Национального комитета. Переговоры, однако, закончились безрезультатно [6. С. 31–34].

12 ноября 1918 г. возглавивший австрийский МИД О. Бауэр способствовал принятию Национальным собранием закона, согласно которому Австрия провозглашалась составной частью Германской республики. 22 ноября четыре немецкие провинции в Чешских землях были приняты Национальным собранием в состав Немецкой Австрии. Причем судьба двух самых крупных – Дойчбемена и Судетенланда – напрямую зависела от скорости присоединения к Германии, так как они не имели непосредственных границ с Австрией. Однако ЧСР не намерена была уступать дан-

ные земли, рассматривая их как часть земель Чешской короны. Кроме того, эти земли составляли единое экономическое и транспортное целое с остальной территорией государства. В середине ноября чехословацкие войска вошли в немецкие провинции и полностью заняли их к концу года. Созданные там правительства эмигрировали. Со своей стороны, австрийское правительство послало в Дойчаудмерен отряды добровольцев. Серьезных военных столкновений удалось избежать лишь благодаря личной дружбе Бауэра с чехословацким представителем в Вене В. Тусаром, но австро-чехословацкий конфликт имел весьма острый характер. Бауэр требовал референдума по вопросу о принадлежности данной территории, но благодаря усилиям чехословацкого министра иностранных дел Э. Бенеша (четко рассчитавшего, что в интересах Франции как можно большее ослабление Германии) государства Антанты отклонили это предложение (см. подробнее [7]).

2 марта 1919 г. между Германией и Австрией был заключен секретный договор о присоединении Немецкой Австрии к Германии, если готовившийся мирный договор не запретит аншлюс. В марте же в ряде судето-немецких городов прошли демонстрации в пользу участия в выборах в австрийский парламент. Во время этих демонстраций 4 марта в некоторых местах возникли вооруженные конфликты. В чешской и немецкой литературе есть расхождения относительно числа пострадавших: согласно чешским источникам, в Кадани были застрелены 25, а в Моравском Штернберку – 16 немцев, были убиты и двое чешских солдат; по немецкой версии, убиты были 54 человека и около тысячи ранены [6. С. 39; 8]. Эти события явились последней попыткой судетских немцев добиться независимости путем открытого столкновения с чехами и весьма осложнили в дальнейшем формирование нормальных чехослово-немецких отношений в едином государстве.

В мае 1919 г. германской делегации был передан проект мирного договора, запрещающий аншлюс Австрии. В начале июня Австрии был вручен первоначальный проект мирного договора, включавший требования Антанты передать Чехословакии Немецкую Богемию, Судеты, области Богемского леса и Немецкой Южной Моравии, а также нижнеавстрийские пограничные округа.

28 июня 1919 г. в Версале германская делегация подписала мирный договор. Его седьмой раздел касался Чехословакии. Германия признавала полную независимость Чехословацкого государства в границах, определенных Главными Союзными и Объединившимися Державами. Границей между Германией и ЧСР должна была стать бывшая граница между Австро-Венгрией и Германской империей. Кроме того, Германия отказывалась в пользу Чехословакии от части Силезии, а также части уезда Леобшюц. Статья 84 договора объявляла германских граждан, живущих на какой-либо территории, признанной частью Чехословацкого государства, чехословацкими гражданами. Следующая статья предоставляла право оптации в течение двухлетнего срока немцам в ЧСР и чехам и словакам в Германии с переездом в страну в соответствии с принятым гражданством [9]. Австрия по мирному договору с Союзными державами, подписанному 10 сентября 1919 г. в Сен-Жермен-ан-Ле, также признавала полную независимость Чехословацкого государства и отказывалась в его пользу от своих прав на территории бывшей австро-венгерской монархии, расположенные по ту сторону границ Австрии [10. С. 350]. В договоре, подписанном в этот же день между Союзными державами и Чехословакией, последняя брала на себя обязательства соблюдать права и защищать интересы жителей, отличающихся от большинства населения по расе, языку или религии [10. С. 378–380].

В Конституции Чехословацкой республики 1920 г. эти международные обязательства были отражены. Однако к ее разработке не привлекались лица немецкой национальности. Первоначально Э. Бенеш предложил идею вхождения немецких районов в состав Чехословацкого государства на следующих принципах: отказ от ограничений на право использования языков национальных меньшинств, превращение немецкого языка во второй государственный язык и в перспективе преобразование страны по образцу кантональной Швейцарии. Однако этот проект скорее

преследовал пропагандистские цели и свидетельствовал о желании чехословацких властей сгладить чешско-немецкий конфликт. После Парижской мирной конференции, на которой были учтены почти все территориальные претензии Чехословакии, Бенеш не возвращался к этой идее. Да и сами судето-немецкие политики, в частности социал-демократы, всерьез не воспринимали эти предложения Бенеша [6. С. 42–43]. Осуществление этого проекта на практике было не очень реальным, так как означало бы децентрализацию только что созданного государства. Поэтому концепция положения немцев в новом государстве, предусматривающая широкую автономию либо предоставление им коллективных прав, в Конституции отражения не нашла. Объяснялось это еще и страхом чешской стороны за судьбу молодого государства из-за немецкого ирредентизма – чехи не хотели терять свои "исторические земли". При выработке Конституции победил чешский национальный радикализм. Немецкое самоуправление было ограничено коммунальным уровнем. Идея назначения немецкого министра по делам земель для контроля за соблюдением прав национального меньшинства также не была реализована, как не стал немецкий язык вторым государственным языком. В законе от 29 февраля 1920 г., устанавливавшем принципы языкового права в республике, говорилось, что "чехословацкий" язык является государственным, официальным. В округах, где 20 и более процентов населения говорили не на чешском или словацком языках, судам, учреждениям и органам республики предписывалось принимать заявления и выдавать решения не только на чешском и словацком языках, но и на языке заявителя. В этих же округах гарантировалось получение образования детьми на родном языке [11]. Это, однако, не вполне удовлетворяло немецкую сторону, и вопрос об использовании языков продолжал оставаться камнем преткновения.

Немалую негативную роль в победе чешского национального радикализма при выработке Конституции 1920 г. приписывают К. Крамаржу – первому председателю чехословацкого правительства, главе чехословацкой делегации на Парижской мирной конференции, председателю Партии национальных демократов (НДП), депутату Национального собрания, представителю чешских правых националистов, одному из главных оппонентов официального Града. В этой связи интересны взгляды Крамаржа по национальному вопросу, подробно изложенные в его заметках к языковому закону (1920) [23. S. 1–11]. Тезисно их можно изложить следующим образом.

Крамарж настаивал на официальном характере чешского (словацкого) языка и объяснял это тем, что любое суверенное и независимое государство должно иметь свой язык. В демократической республике, признающей равенство всех граждан, а следовательно и языков перед законом, речь прежде всего должна идти о том, как обеспечить справедливое и профессиональное управление. Он считал, что в демократическом государстве не надо делать акцент на "государственном" языке, так как все языки в многонациональном демократическом государстве "государственные" а лишь на практической необходимости официального языка, так как этого требует единое управление. (В конце концов в Конституции 1920 г. нашла отражение компромиссная формулировка "государственно-официальный язык" [13].) По мнению Крамаржа, наряду с национальными языками, существуют и языки межнационального общения, поэтому узкая языковая политика была бы анахронизмом и несчастьем, поскольку ЧСР призвана вести не только национальную, но и европейскую политику. Кроме того, Крамарж отмечал, что и мирный договор, обеспечивающий независимость Чехословакии, не основан лишь на принципе национального самоопределения, приводя многочисленные тому примеры.

Вместе с тем Крамарж однозначно заявлял, что многочисленность национальных меньшинств, особенно немцев, и международное положение молодой Чехословацкой республики исключают какие-либо стремления к ассимиляции. Он писал: "Мы хотим завоевать на свою сторону национальности... То есть мы должны сотрудничать с национальными меньшинствами в интересах государства" [12. S. 3]. Крамарж полагал, что политика по отношению к национальному меньшинству должна учитывать не

только его численность, но и уровень обеспеченности и образования. При этом он подчеркивал специфику национальных меньшинств в ЧСР, каждое из которых являлось частью более крупных народов за границей. Поэтому он предполагал, что политика Чехословакии в отношении меньшинств будет являться предметом пристального внимания со стороны соседних государств.

Главной проблемой Крамарж считал немецкую. "Если мы добьемся поддержки немцев в нашем государстве, – писал он, – мы завоюем на свою сторону и остальные меньшинства" [12. S. 4]. Крамарж весьма опасался немецкого сепаратизма, указывая, что немцы своим ирредентизмом могли бы привлечь на свою сторону венгров и другие национальности. Учитывая свой многолетний опыт работы в австрийском Рейхсрате, он считал, что объединение оппозиции привело бы к возникновению обструкции и весьма затруднило бы работу Национального собрания.

Особое внимание Крамарж обращал на языковую проблему в армии. Он высказывался за швейцарский образец и писал, что был бы не против либо немецких воинских частей и командиров, либо, при смешанных соединениях, совместного командования – чешского и немецкого.

Официальный язык Крамарж понимал как внешний (надписи на административных зданиях, железнодорожных станциях, денежных знаках и т.п.) и внутренний. В первом случае он предлагал использовать чешский и словацкий, но когда речь идет о внутреннем использовании официального языка, он предупреждал против перегибов, замечая, что нельзя заставлять двух чиновников немцев объясняться между собой по-чешски, тем более, что многие немецкие и венгерские служащие не знают чешский и словацкий языки. Практически главной задачей было определить одноязычные и двуязычные (смешанные) органы. Крамарж выступал за двуязычие органов высших инстанций, допуская, что чиновники отдельных областей и некоторых высших инстанций могут быть одноязычны. За знание языков служащими Крамарж предлагал давать премии.

По поводу языка в школах Крамарж замечал, что все меньшинства будут иметь свои национальные средние школы, отметив, что у немцев уже существуют и высшие школы. Он не считал правильным обязательное введение в начальных школах национальных меньшинств чешского (словацкого) языка и даже в средних предлагал ограничиться его факультативным изучением. При этом он подчеркивал, что все эти вопросы необходимо решать по договоренности с немцами. Вместе с тем, по его мнению, закрытие "излишка" немецких и венгерских школ не было бы несправедливым. (В первые годы существования Чехословакии немцы часто жаловались на закрытие своих школ. Чехи оправдывались тем, что это касалось лишь тех школ, посещаемость которых резко сократилась, и приводили контраргумент, согласно которому в Словакии, где до тех пор немецких школ не существовало, они были созданы [14]. Всего в 1921 г. существовало 3 882 чешских и 2 306 немецких начальных школ, причем наполняемость классов в чешских школах была намного выше, чем в немецких [15. S. 599].) Крамарж выступал за изучение чехами и словаками языков национальных меньшинств.

Для Крамаржа главной являлась следующая проблема: как сохранить государство сильным и единым при таком большом количестве и проценте национальных меньшинств. Он откровенно признавался, что прошлая практика многолетней борьбы чехов и словаков с немцами и венграми за национальное равноправие в рамках Австро-Венгрии накладывала отпечаток на формирование взаимных отношений, тем более, что из народов господствовавших немцы и венгры стали национальными меньшинствами. Однако он предупреждал, что политики и государственные деятели не должны опускаться до мести. Основным лозунгом в отношении национальных меньшинств, по его мысли, должна была стать постоянная лояльность.

Суммируя приведенные заметки Крамаржа, вряд ли можно согласиться с резко отрицательной оценкой его позиции в отношении национальных меньшинств, в том числе и немцев, во всяком случае в этот период (см., например, [8]).

В целом чехословацкая Конституция 1920 г. защищала права национальных меньшинств и запрещала насильственную денационализацию. Но чехословацкое право в национальном вопросе основывалось на индивидуальных правах личности, не признавая коллективных прав национальных меньшинств. По вопросу о приоритете того или иного принципа до сих пор идут споры между историками и публицистами [15. S. 594].

Несмотря на негативные моменты, в 1920-е годы можно говорить и о некоторой нормализации чешско-немецких отношений, причиной чего отчасти явились общие экономические и социальные интересы. После того, как движение за самоопределение судетских немцев потерпело поражение, судето-немецкие политические партии стали стремиться к достижению национальной автономии в рамках ЧСР. Они приняли участие в первых парламентских выборах в апреле 1920 г. и провели значительное число депутатов в палату депутатов и в сенат [6. С. 68; 16]. Приблизительно к середине 1920-х годов немецкий негативизм по отношению к Чехословацкому государству сменился так называемым активизмом, т.е. политикой сотрудничества с чехословацким руководством и политическими партиями с целью улучшения положения судетских немцев. В 1926 г. два немецких министра, Ф. Спина (от Союза сельских хозяев) и Р. Маир-Хартинг (от Партии христианских социалистов) вошли в правительство агрария А. Швеглы. Они получили соответственно посты министров общественных работ и юстиции. С 1928 г. немецкие социал-демократы перешли к сотрудничеству с чехословацкими социал-демократами и стали участвовать в коалиционном правительстве (Л. Чех в декабре 1929 г. получил пост министра социального обеспечения) [6. С. 79, 87]. В какой-то степени переходу к активизму способствовали двусторонние международные договоры 1920 г., заключенные между Чехословацкой и Австрийской республиками об урегулировании вопросов государственного гражданства и охраны прав меньшинств, и между Чехословацкой республикой и Германией о государственном гражданстве. Согласно этим договорам, при определении национальности прежде всего должен был учитываться родной язык. Чехословакия старалась установить если не дружественные, то по крайней мере корректные отношения с соседними государствами, тем более, что, несмотря на ее политическую ориентацию на Францию, Германия и Австрия оставались основными традиционными экономическими и торговыми партнерами ЧСР (в середине 1920-х годов на долю Германии в чехословацкой торговле приходилось 40% импорта и 25% экспорта). В конце 1921 г. Чехословацкая республика заключила еще один договор с Австрией, в котором декларировался принцип нейтралитета во взаимоотношениях и содержалась двусторонняя гарантия неизменности границ.

Однако частичный экономический кризис середины 1920-х годов в ЧСР и изменившаяся послекарнская международная ситуация в Европе, активизировавшая ревизионистские устремления Германии, затрудняли чешско-немецкое сближение. Уже в 1926 г. министр иностранных дел Германии Стресеманн заявил, что немецкое правительство с особым вниманием следит за судьбой немецких элементов в Чехословакии и получает информацию об ограничении немецкого образования и права пользования немецким языком в этой стране [2. S. 56]. Постепенно вопрос немецкого меньшинства в ЧСР из внутреннего превращался в вопрос двусторонних отношений между Чехословакией и Германией, а затем и в международную проблему. Попытки Бенеша и Масарика урегулировать двусторонние отношения в 1927–1928 гг. успеха не имели [2. S. 57]. Германия взяла курс на поддержку античехословацких пропагандистских акций различных немецких организаций как в Германии, так и в Чехословакии. Предложения Масарика, высказанные им в десятилетнюю годовщину образования республики и направленные на предоставление большего самоуправления национальным меньшинствам [17], уже не могли кардинально изменить напряженную обстановку чешско-немецких отношений, но лишь частично сглаживали их.

Мировой экономический кризис конца 1920-х – начала 1930-х годов очень тяжело отразился на Чехословацком государстве, особенно на положении судетских немцев. В этих условиях надежды на автономию либо федерализацию государства стали пред-

ставляться тщетными, и большинство судетских немцев обратились к идеям тоталитаризма, критикуя слабость демократии. Приход к власти в Германии Гитлера и установление диктаторского режима воскресили планы объединения всех немцев в едином государстве. Политика Судето-немецкой партии К. Генлейна, выступавшей от имени всех чешских немцев и щедро поддерживаемой из-за границы, вызывала ответную активизацию чешских националистов, что сказалось и на деятельности НДП, перешедшей в 1934 г. в оппозицию и образовавшей осенью того же года Национальное объединение. Противостояние усилилось, когда на парламентских выборах 1935 г. в северо-западных районах страны на первое место вышли генлейновцы. В результате острой внутривнутриполитической борьбы новым президентом республики осенью того же года стал Э. Бенеш. Орган НДП "Národní Listy", выступая против автономистских требований Генлейна, писал, что решить вопрос, предоставив немцам автономию, нельзя, так как на судетских землях осталось бы 350 тыс. чехов, а в Чехии большое количество немцев, расплывенных по всей территории [18].

Вторая половина 1930-х годов знаменовалась дальнейшим обострением международных отношений, растущей агрессией гитлеровской Германии: в марте 1938 г. был осуществлен аншлюс Австрии. Министр иностранных дел ЧСР К. Крофта, выступая на съезде работников немецких культурных и просветительных объединений в Праге в мае 1938 г., проанализировал отношение немцев к Чехословацкому государству и его исторические корни. По его мнению, из-за негативистской позиции немцев в первые годы существования Чехословакии (выразившейся в том, что они практически не участвовали в государственном строительстве), представители чехословацкого народа имеют право считать Чехословацкую республику своим национальным государством и противостоять всем стремлениям провозгласить ее многонациональным государством по примеру Швейцарии. Вместе с тем в этой же речи он подчеркнул, что чехословацкие граждане немецкой национальности, веками проживающие на этой территории, не могут считаться лишь одним из меньшинств, каким-то неорганическим клином в чехословацком государственном организме. Он заявил о желании признать немцев в качестве второго "государственного" народа и сотрудничать с ними в интересах сохранения и процветания общего государства [19]. Однако Судето-немецкая партия выдвигала все новые требования предоставления широкой автономии северо-западным районам страны.

В условиях сильного внутреннего и внешнего давления правительство Годжи приняло в начале сентября очередной (уже четвертый) план решения судето-немецкого вопроса, учитывающий практически все требования партии Генлейна, выдвинутые на партийном съезде в Карловых Варах. Но действительной целью Генлейна являлось создание в конце концов повода для прямого вмешательства Берлина. Вооруженный путч, организованный этой партией 12–13 сентября 1938 г., был подавлен, партия распущена. Однако западные страны, проводившие политику "умиротворения агрессора", потребовали от Чехословакии передачи Германии районов, где немцы составляли более половины населения в обмен на обещание гарантии новых границ. Принятие ультиматума привело к правительственному кризису и смене кабинета. Между тем Гитлер выдвинул новые требования по передаче пограничных районов до 1 октября и удовлетворению территориальных претензий Польши и Венгрии к Чехословакии. Дальнейшее развитие ситуации привело к заключению 29 сентября 1938 г. в Мюнхене соглашения между Германией, Великобританией, Францией и Италией об условиях и формах уступки судето-немецкой области. 30 сентября правительство в нарушение Конституции приняло мюнхенский диктат без парламентского решения, и "первая" республика перестала существовать.

Так называемая "вторая" республика просуществовала полгода. Ни передача Тешинской области Польше, районов Южной и Юго-Западной Словакии и южной части Подкарпатской Руси Венгрии, ни конституционные законы об автономии Словацкого края и Подкарпатской Руси от ноября 1938 г. [20. S. 14–20, 22–30] не спасли страну от распада и оккупации: 14 марта 1939 г. словацкий Сейм принял закон

о самостоятельном и независимом Словацком государстве, а 15 марта было опубликовано "совместное" заявление правительств Германии и ЧСР, в котором фюрер сообщал о своем решении взять чешский народ под защиту германского рейха и обеспечить ему автономное развитие [21]. Можно сказать, что не реальное положение национальных меньшинств, а само существование их в пределах ЧСР было использовано определенными политическими кругами Германии, Венгрии, Польши как повод для уничтожения демократической Чехословацкой республики. Некоторые исследователи считают, что уже в основу образования Чехословацкого государства был положен, казалось бы, справедливый, но во многом утопичный для Европы, принцип национального самоопределения, и именно это составляло значительную слабость вновь созданного государства [15. S. 594]. Международные обязательства в отношении меньшинств, заложенные в системе версальских мирных договоров, создавали основу для автономистских требований со стороны национальных политических элит. Другие историки, хотя и соглашались, что главной причиной уничтожения демократического Чехословацкого государства являлись не внутренние, а внешние факторы, но все-таки указывают на отсутствие теоретической концепции государственной политики в отношении национальных меньшинств, нерешенность национальных проблем, что вызывало недовольство меньшинств, вело к государственной нестабильности и позволило в конце концов соседним государствам, прежде всего Германии, получить повод для вмешательства [22].

В годы второй мировой войны Э. Бенеш организовал за границей центр сопротивления и вел борьбу за отказ западных держав от мюнхенского соглашения и признание правового континуитета ЧСР в домюнхенских границах. Идея восстановления Чехословацкого государства в конце концов победила. Бенеш стремился также кардинально решить немецкую проблему, не желая более рисковать самим существованием чехословацкой государственности. Международная конференция в Потсдаме 2 августа 1945 г. приняла принципиальное решение о выселении немцев из Польши, Чехословакии и Венгрии [23]. Согласно президентскому декрету от того же числа, чехословацкие граждане немецкой и венгерской национальности лишались чехословацкого гражданства. Исключению подлежали только те граждане, которые смогут доказать, что оставались верными Чехословацкой республике, активно боролись за ее освобождение или пострадали от нацизма [20. S. 38–40]. В 1945 г. было издано и несколько декретов о лишении имущества лиц немецкой и венгерской национальностей [24]. Постановление о выселении немцев в Германию на местах выполнялось весьма жестко: им объявлялось, что они должны собраться и в течение 15 минут выехать в Германию, оставив все личные вещи, на дорогу разрешалось взять лишь 5 марок. Будучи разорены и не видя жизненных перспектив, некоторые из них кончали жизнь самоубийством [25]. До сих пор оценка "трансфера" немцев из Чехословакии, а также и другие проблемы взаимоотношений чехов и немцев в рамках ЧСР, остаются дискуссионными в чешско-немецких отношениях [26]. И хотя чешская сторона признает, что после войны победили принципы возмездия и так называемой коллективной вины немцев за античешскую оккупационную политику, она указывает и на решающую роль Судето-немецкой партии в уничтожении демократической Чехословацкой республики. Кроме того, чехи подчеркивают тот факт, что выселение не было направлено против немцев-антифашистов. Немецкая же сторона расценивает лишение имущества, гражданства и родины чешских немцев как нарушение прав человека, подчеркивая моральное право судетских немцев на родину.

Демократическая революция 1989 г. несколько изменила политический климат, на фоне которого происходит обсуждение проблем двусторонних отношений. Президент В. Гавел принес официальные извинения за послевоенное выселение немцев. В конце 1996 г. последовала совместная чешско-немецкая декларация, согласно которой немецкая сторона признала свою ответственность за насилие в отношении чехов, за раздел довоенной Чехословакии, за послевоенную атмосферу. Чехи, в свою очередь, выразили сожаление по поводу тех притеснений и несправедливостей, которые при-

шло испытать невинным людям во время выселения немцев из Чехословакии [27]. Совместное членство в НАТО также содействует ликвидации традиционной враждебности и недоверия в чешско-немецких взаимоотношениях. Несмотря на несомненный интерес к проблемам совместного сосуществования чехов и немцев в едином государстве в последние годы, достаточно спорными в историографии остаются еще такие вопросы, как социально-экономическое и культурное положение немецкого меньшинства в межвоенной Чехословакии и его постепенное изменение, роль социальных условий в формировании политической культуры немецких партий, отношение органов государственного управления к немецкому населению и др. [28].

Чешско-немецкие отношения в ключевые моменты истории Чехословацкого государства (1918, 1938, 1945 гг.) играли очень важную роль. Северные и северо-западные районы Чехословакии, до 1918 г. никогда не составлявшие часть германской территории, были в 1938 г. присоединены к Германии на основании принципа национального самоопределения, который оказался в противоречии с историческим принципом нерушимости государственных границ. В 1945 г., как и в 1918 г., Чехословакия, выступавшая в лагере победивших союзных держав, использовала свое политическое преимущество для решения внутринациональной проблемы в выгодном для себя смысле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dokumenty československé zahraniční politiky. Vznik Československá 1918. Praha, 1994. S. 332–333.
2. Klímek A., Kubíř E. Československá zahraniční politika 1918–1939. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha, 1995.
3. Boháč A. Národnostní mapa Republiky Československé. Podrobný popis národnostních hranic, ostrovu a menšin. Praha, 1926. S. 160–161.
4. Вергун Д.Н. Немецкий "Drang nach Osten" в цифрах и фактах. Вена, 1905. С. 17, 50.
5. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 3418. 1910–1911. Л. 154, 159.
6. Кретинин С.В. Судето-немецкая социал-демократия: страницы политической истории, 1918–1939 гг. Воронеж, 1998.
7. Станков Н.Н. Отто Бауэр: восемь месяцев на Бальхаузплац // Славяноведение. 1999. № 1. С. 50.
8. Kural V. Němci v novém státě: nest'astná politika na obou stranach // Lidové noviny. 1998. 27 X.
9. Версальский мирный договор / Пер. с фр. Под ред. Ю.В. Ключникова и А. Сабанина. М., 1925. С. 38–40.
10. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. М., 1926. Ч. II.
11. Ústavní zákony Československé republiky. Praha, 1920. S. 51–56.
12. Archiv Národního Muzea (ANM). f. 2. Pozůstalost Karla Kramáře. Kart. 94. Poznámky k jazykovému zákonu.
13. Šeřtilová J. Československá strana národně demokratická v letech 1918–1923 // Časopis Národního Muzea. 1993. № 3/4. S. 104.
14. Brugel J.W. Czechoslovakia before Munich. The German minority problem. Cambridge, 1973. S. 66.
15. Pavlíček V. К ústavním aspektům práv menšin po vzniku Československá // Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve Střední Evropě. Sv. 2. Praha, 1999.
16. Tomeš J. Slovník k politickým dějinám Československá 1918–1992. Praha, 1994. S. 272.
17. Koloman G. Vztah T.G. Masaryka k českým Němcům (1918–1935) // Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve Střední Evropě. Sv. 2. Praha, 1999. S. 634–635.
18. Národní Listy. 1937. 3 III.
19. Archiv Národního Muzea. F. 2. Kart. 92. Obsah projevu ministra zahraničních věcí dr. Kamila Krofity, proneseného ve čtvrtek 21 května na sjezdu pracovníků německýků osvětových sborů v Praze.
20. Dokumenty k ústavnímu právu dějinám Československým. 1938–1946. Praha, 1947. Díl. 1.

21. Документы по истории Мюнхенского сговора 1937–1939. М., 1979. С. 423–424.
22. *Kučera J.* Koncepte národního státu Čechů a Slováků a jeho realita v životě první republiky // Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve Střední Evropě. Sv. 2. Praha, 1999. S. 602.
23. Právní aspekty odsunu sudetských Němců. Praha, 1995. S. 80–81.
24. *Mikule V.* Dekrety prezidenta republiky po padesátí letech // Studie o sudetoněmecké otázce. Praha, 1996. S. 191–194.
25. Восточная Европа в документах российских архивов 1944–1953. 1944–1948. Москва, Новосибирск, 1997. Т. 1. С. 223.
26. Studie o sudetoněmecké otázce. Praha, 1996.
27. Český dialog. 1997. Č. 1/2. S. 23.
28. *Šebek J.* Národnostní problémy první ČSR v historiografické reflexi (Stav ke konci 20.století) // Reflexe dějin. První Československé republiky v české a slovenské historiografii. Praha, 1998. S. 99.



РОМАН Г. ХЕРЛИНГА-ГРУДЗИНСЬКОГО "ИНОЙ МИР" В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ПРОЗЫ

Роман "Иной мир. Советские записки" (1949–1950) Густава Херлинга-Грудзиньского – польский образец документальной литературы о ГУЛАГе. «Я бы хотел, – писал автор, определяя жанр книги, – чтобы когда-нибудь в будущем "Иной мир" читали как Bildungsroman отдаленной и замкнутой эпохи советской тюремной цивилизации» [1. Т. 6. S. 130].

"Советские записки" 1940–1942 гг. охватывают тюремный маршрут автора: Витебск – Ленинград – Вологда, пребывание в Ерцево Архангельской области, путешествие на Урал, а затем в Казахстан. Изданная впервые по-английски (1951), а затем в польском оригинале (1953), книга была воспринята как сенсационный документ быта исправительно-трудовых лагерей [2. Т. 1. S. 317–318]. Заинтересовались "Иным миром" Б. Рассел [3] и А. Камю [1. Т. 6. S. III]. За автором закрепилась репутация писателя-русиста и даже «самого "русского" польского писателя» (З. Подгужец) [3. S. 290]. Русский контекст "Иного мира" – одна из первоочередных проблем изучения романа. Ее обозначил в русском литературоведении В.А. Хорев: "Обращение к Достоевскому – одна из приметных особенностей повествования – придает ему историко-философское измерение". "Иной мир", по его мнению, сопоставим с прозой Солженицына и Шаламова [4].

В публикуемой статье мы рассмотрим "Иной мир" с точки зрения жанра, а также сопоставим жанр, проблематику и поэтику этого произведения с "Записками из Мертвого дома" Ф.М. Достоевского, "Записками охотника" И.С. Тургенева, "Архипелагом ГУЛАГ" А.И. Солженицына и "Колымскими рассказами" В.Т. Шаламова.

1. "Иной мир" как роман-свидетельство

Сегодня внимание польских исследователей "Иного мира" перемещается из плоскости проблемно-тематической в сферу поэтики. Нравственно-философские позиции Херлинга-Грудзиньского выражаются, по верному замечанию А. Васько, "посредством речевых приемов, сознательного выбора одних изобразительных средств и отказа от других, модификации и синтеза жанровых образцов" [3. S. 94]. Уточняется историко-литературный генезис "Иного мира". М. Выка и Г. Борковская отмечают в творчестве писателя влияние характерных для литературы межвоенного двадцатилетия персонализма, психологизма и катастрофизма [5]. Т. Бурек выделяет в качестве составляющих "Иного мира" искусство "точной памяти" Марселя Пруста и повествовательную технику бихевиоризма, характерного для литературы США 20–30-х годов

[6. S. 12–14]. "Иной мир" изучается в типологической параллели с прозой Т. Боровского (Ян Блоньский) [3].

Исследователи осмысливают жанровую систему "Иного мира" в контексте эволюции романа в XX в. Это произведение с чертами репортажа [7. S. 108], это разновидность современной автобиографии [8. S. 51], "эссеизированный" роман (А.С. Ковальчик) [3. S. 234], синтез "мемуаров, философского эссе и, как определил сам автор, романа образования" [6. S. 95]. С. Стабро рассматривает "Иной мир" как "пограничье традиционного романа и литературы факта (...) при аморфичности, фрагментарности и эссеизме, которым характеризуется все творчество Херлинга-Грудзиньского в целом" [6. S. 23].

При всем том, как справедливо отметил В. Болецкий, «вопреки постоянным пророчествам, касающимся "сумерек романа", писатель убежден в неисчерпаемых возможностях жанра» [9]. "Иной мир", видоизменяющий традиционную модель романа, – яркое подтверждение этой мысли.

"Иной мир" – это роман-документ, роман-свидетельство, и это "памятник товарищам по неволе" [10]. Здесь нет всеведущего повествователя или условного рассказчика. Автор и главный герой – это сам писатель Херлинг-Грудзиньский, очевидец ГУЛАГа. Роли автора и действующего лица разделены трехлетним опытом участия писателя в военных кампаниях второй мировой войны, годами журналистской деятельности и литературного творчества в мирное время. Заключенный Каргопольлага Херлинг-Грудзиньский воплощает классический тип романного героя: он оказывается в сложных жизненных ситуациях, познает разные стороны бытия, приобретает новый опыт, выдерживает испытание на стойкость духа.

"Иной мир" имеет кольцевую композицию: в начале романа речь идет о захвате немцами Парижа (1940), а кончается роман известием об его освобождении (1944). Упоминание крупнейшего центра интеллектуальной жизни Европы имеет в романе знаковый характер. Ответственность европейской интеллигенции за "катастрофический прогресс" XX в., как показывает З. Кудельский, является для Грудзиньского чрезвычайно важной темой.

"Иной мир" – это и подлинный "роман образования", несмотря на то, что истинный смысл понятия "образование" противоречит "культурно-воспитательному" формализму советских лагерей. Речь идет о жизненной школе, в которой кардинально меняется мироощущение автора, ставшего свидетелем взаимоисключающих примеров высоты и низости, силы и бессилия человека. Психологический мир ГУЛАГа раскрылся перед автором и благодаря размышлениям над "Записками из Мертвого дома" Ф.М. Достоевского. Об этом точно сказал А. Дравич: «Херлинг-Грудзиньский привык называть себя профессиональным русистом. Согласимся, что он прошел интенсивный "спекурс" в лагерях, в долгом путешествии к армии Андерса, затем в воинских подразделениях. Этот капитал приумножен интенсивным чтением» (цит. по: [11. S. 500]).

Роман "Иной мир" вобрал в себя автобиографические фрагменты, документальные очерки, психологические новеллы, а также публицистические эссе – комментарии политических событий. В нем явно или скрыто присутствует автор, который либо прямо участвует в действии, либо проявляет себя в оценке поступков других персонажей. Части книги различаются степенью автобиографичности. Автор сначала сообщает о своем аресте, следствии, этапе и прибытии в Ерцево (глава "Витебск – Ленинград – Вологда"). Затем он сознательно отступает на второй план, пристально наблюдая за окружением. Следующий автобиографический отрезок повествования открывается очерком "В тылу Отечественной войны", где речь идет о польско-советском договоре Сикорский – Майский, предполагавшем освобождение польских заключенных, и о доносе, едва не похоронившем надежду автора выйти из лагеря. Глава "Мука за веру", кульминация "Иного мира", раскрывает психологический подтекст отчаянной восьмидневной голодовки, которая завершилась трудной победой автора над лагерной администрацией.

Документальные очерки включают бытописательные и путевые заметки. Пред-

метом первых являются внутрилагерные законы и обычаи. Повествование развивается скорее в пространственном (панорамном), чем временном ракурсе. В "тени" Ерцево возникает соседняя Алексеевка-вторая и лагерная "преисподняя" – Колыма. Планомерно воссоздается география Ерцево: лазарет, больница, кухня, бараки пересыльный и технический, "барак художественной самодеятельности", "дом свиданий", внутренний изолятор, "мертвецкая". Дается социологическое описание лагеря: уголовные, политические и бытовые заключенные. Образ Ерцево дополняется описанием витебской и вологодской тюрем, элитной тюрьмы в Ленинграде, а также картинкой из "столыпинского" вагона.

На материале путевых впечатлений 1942 г. Херлинг-Грудзинский создает набросок картины советского тыла. Советская военная действительность представляется писателю сплавом трагического и героического, низменного и возвышенного. С одной стороны – вологодская сцена жестокости очереди к красноармейцу-инвалиду, двойнику гоголевского Копейкина, с другой – памятный разговор автора в купе вагона с шестью женщинами, а затем свердловская картина самоотверженного труда московских работниц для фронта и победы. "Никогда больше, – признается автор, – даже в польской армии в России, я не встречался с такими искренними и трогательными изъявлениями патриотизма" (здесь и далее цит. по: [12. С. 224] с указанием страниц в тексте статьи).

"Иной мир" запоминается не только фактами, воссоздающими трагизм заключения, но и авторскими резюмирующими афоризмами, полными горечи и почти отчаяния: "Нет ничего такого, чего человек не сделал бы от голода и боли" (С. 131); "Если есть Бог – пусть безжалостно покарает тех, кто ломает людей голодом" (С. 136). Вот пример горькой иронии автора над "инквизиторами" XX в.: "Я порекомендовал бы всем правителям, которым особенно нечего предложить своим подданным, начать с того, чтобы лишить их всякого достоинства: что им потом ни дашь – все окажется великодушным жестом" (С. 113).

Функцию зачина развернутых документальных описаний выполняют своеобразные "микроэссе", тематика которых – Россия после революции ("Ночная охота"), "исход" евреев в СССР из земель, оккупированных Германией ("Записки из Мертвого дома"), начальная стадия русско-немецкой войны ("В тылу Отечественной войны"). Лагерное бытописание обогащается "дальними" аналогиями, неожиданными и парадоксальными. Например, медосмотр напомнил автору старинные "гравюры из книг о работоторговле" (С. 47), стремление заключенных любой ценой попасть в больницу – "множество преданий о безумцах, которые собственной жизнью заплатили за искушение хотя бы на миг узреть абсолютную красоту..." (С. 97)¹.

Суждение В.Б. Шкловского о "Записках из Мертвого дома" Достоевского вполне применимо к "Иному миру": "Очерковость документального материала преодолена глубоким, пристальным, долгим рассматриванием героя" [13. С. 109]. В книге выделяются семь автономных новелл: "Огрызок", "Убийца Сталина", "Drei Kameraden" (по ассоциации с "Тремя товарищами" Ремарка), "Рука в огне", "Мука за веру", "Рассказ Б.", эпилог "Падение Парижа". Внутри бытописательных и путевых очерков содержатся новеллы (Коваль и Маруся "Ночная охота"), Русто Каринен ("Выходной день"). Встречаются лаконичные портретные зарисовки и новеллистические наброски в нескольких фразах, как, например, "рассказ в рассказе" – упоминание о трех монахинях, открыто выразивших протест против лагерного режима ("Мука за веру"). Авторский самоанализ сопряжен с внешним наблюдением, что существенно, по мнению писателя, для эпики в целом. «Конструировать "человеческие души" в отрыве от "человеческих историй", – писал он, – пренебрегая "внешним механизмом" действия, поступка, значит уничтожить сущность романа: искусство повествования» [1. Т. 4. С. 193].

Типовая композиция рассказов триединая: портрет заключенного – предыстория – история заключения. Сюжет концентрируется на пребывании героя в лагере

¹ Между прочим, аналогии отдаленных исторических эпох часто используются в творчестве Херлинг-Грудзинского.

("Огрызок"), на долагерном прошлом ("Drei Kameraden") или на обвинительном акте ("Убийца Сталина"). Новеллам присуща меткая концовка – эффективный способ отграничения новеллы от основного повествования. Так, выслушав историю мучительной смерти бывшего чекиста Горцева, знакомый автора заключает: "Революция перевернула старый порядок. Раньше рабов бросали на пожирание львам, теперь бросают львов на пожирание рабам" (С. 25).

Персонажи новых новелл дополняют и поясняют истории предыдущих героев. Осмысливая свой опыт и опыт сотоварищей, Херлинг-Грудзинский изображает критические моменты, когда заключенный не в состоянии найти компромисс с лагерной администрацией и поставлен перед окончательным выбором: решительное сопротивление или капитуляция. Формируется тип героя-бунтаря, который использует разные методы сопротивления: Костылев, Наталья Львовна, Русто Каринен, Евгения Федоровна, шестеро польских заключенных, среди них и сам автор. Цикл историй бунта завершается символическим образом "Христа в лохмотьях зэка" – колхозника-юродивого из-под Калуги. Человек ищет надежду в отчаянии, проявляя иногда фантастическую выносливость и упорство. (Этот мотив присутствует и в других произведениях писателя – например, в рассказе из времен средневековья "Второе пришествие".)

Предательство и предатели – противоположный проблемный узел новелл. Автор раскрывает характеры циничного Зискинда и коварного Махапетяна, явного и скрытого доносчиков. Психология предательства представлена в самооправдании бывшего зэка ("Падение Парижа"). А.С. Ковальчик отметил, что это жанр светской исповеди, в которой автор-слушатель не чувствует за собой права на отпущение грехов [3. С. 236]. Здесь напрашивается аналогия с главой романа Достоевского "Бсы", "Ставрогин у Тихона", которая тоже несет функцию эпизода.

Херлинг-Грудзинский, отмечает Л. Бурская, описывает конкретные факты, не прибегая к пафосу [8. С. 741]. Он ориентируется на живую речь, письменную и устную. В письмах родным, замечает писатель, заключенные стремились "одной короткой фразой дать приближенное представление о своих муках" (С.118). Костылев строит свою устную речь "спокойно, убедительно и со знанием дела..." (С. 74). Сдержанность и краткость отличает и все повествование Херлинга-Грудзинского.

Речевая организация "Иного мира" отличается исключительной точностью средств художественной выразительности, их адекватностью предмету изложения. Часто используются неожиданные, меткие сравнения. Возвращение зэков в лагерь с общих работ сопоставляется с усилиями жертв кораблекрушения доплыть до необитаемого острова. Костылев напоминает "ледокол, зажатый, во льдах" (С. 76–77). Сам автор, побывавший на сенокосе, сравнивает себя с "оводом, шатающимся на тоненьких ножках..." (С. 180). Не столь многочисленны метафоры, поскольку автор избегает изысканности речи ("спасательная шлюпка больницы" (С. 103), "осклизлые ребра камней" (С. 160). Метонимия придает суждению оттенок парадоксальности: "Урка в лагере – это орган власти, самый главный человек после начальника вахты" (С. 20). Сугубо "поэтическими" средствами речи служат риторические вопросы ("Что думали о нас люди, зажигавшие теперь огни в далеких окнах?...". С. 117). В публицистических фрагментах выделяются опорные абстрактные понятия: "свобода", "энтузиазм", "террор", "страх", "власть", – соответствующие высокому стилю в традициях классицизма (С. 118). В польский текст постоянно включаются русские фразы, придающие описаниям местный колорит.

Изобразительные средства играют ключевую роль в раскрытии образов новелл. Картина быта свердловского семейства Кругловых завершается выводом-оксюмороном "аристократическая нищета" (С. 228). Портрет еврея из Гродно сопровождается его двукратным сравнением с птицей. Вступительная часть рассказа "Рука в огне" примечательна аллегорической картиной медицинской операции, в которой следователь – это "хирург", подследственный – "пациент", а циничная цель операции – ампутация души. Результатом становится "наново рстающая личность".

Художественно-речевая орнаментация особо характерна для стихотворений в прозе: импрессионистической пейзажной зарисовки ("Сенокос") и изложения сновидения ("Мертвецкая"). В дни полевых работ заключенный чутко воспринимает все нюансы природы, следит за цветовой переменой неба: цвет "жемчужно-переливчатой раковины, розово-голубой по краям, белой в середине". Утром небо раздувается как парус, вечером – дрожит как "истертая серебряная фольга" над огнем (С. 180–181). Сон автора содержит романтический мотив возвращения в страну детства и включает соответствующую образность: луна и лиственницы – "место встречи привидений" (С. 218).

Приверженность Херлинга-Грудзиньского канонам романа-свидетельства сочетается с необыкновенно поэтическими описаниями. В единстве документальной достоверности и проникновенного лиризма – своеобразие "Иного мира" как художественного целого.

2. "Иной мир" и "Записки из Мертвого дома"

"Записки из Мертвого дома" – жанровый прообраз "Иного мира", предмет литературно-критических размышлений его автора. Достоевский, по утверждению В. Карпиньского, стал "покровителем" и "соавтором", а также важнейшим литературным персонажем "Иного мира" [14]. Произведения, разделенные почти веком (1860–1862 – первое издание "Записок", 1951 – "Иного мира"), имеют явное типологическое сходство, которое проявляется в композиции и системе персонажей. "Иной мир" дает пример "текста в тексте" [15], где основной текст ("советские записки") и "вводимый" источник ("Записки из Мертвого дома") плодотворно взаимодействуют. Название "Иной мир" – парафраз к Достоевскому: "За этими воротами был свой особый мир, ни на что не похожий..." [16]. Эпиграфы к "Иному миру", поразившие польского автора определения "Мертвого дома" подтверждают статичность мира неволи как в XIX, так и в XX в.

Книги обнаруживают сходный исторический контекст "мертвых домов" и ГУЛАГа. Поворот к деспотизму и разрастание тюрем воспринимаются обоими авторами как регресс. По наблюдению В.Б. Шкловского, трагизм "Мертвого дома" обусловлен возвратом к общеевропейскому цезаризму после 1848 г. [13. С. 114–115]. Тревожным симптомом стало президентство, а затем императорство Наполеона III, которое обсуждают в "Записках" Александр Петрович Горянчиков с арестантом Петровым. Херлинг-Грудзиньский в историософских отступлениях, посвященных развитию советского общества, констатирует неизбежный поворот от революций к тираническому единовластию и военной катастрофе конца 30-х – начала 40-х годов ("Ночная охота").

Польский писатель утверждает, что современный лагерь мало изменился в сравнении с предшествующим веком. По его наблюдению, сохранились и даже усилились деспотический нрав тюремного начальства, враждебность уголовников к политическим, погоня за планом ("уроком"). Сквозь призму XX в. воспринимается факт осуждения дворянина за мнимое отцеубийство – наказание без преступления, вошедшее в норму советского законодательства 30–50-х годов. Не изменилась психология заключенного, который судорожно хватается за каждое отдаленное напоминание о свободе, жаждет любой ценой "переменить участь" и вместе с тем привыкает к многолетнему терпению.

С другой стороны, которга в изображении Достоевского либеральнее лагеря у Грудзиньского: если пристав в "Мертвом доме" уговаривал заключенных работать, то заключенные советского лагеря вынуждены работать под страхом смерти.

Подобие предметов изображения двух книг сказалось на родстве их художественной формы. Оба произведения относятся к жанру "документального романа" (В.Б. Шкловский), включающего в себя развернутые описания, публицистические комментарии, вставные новеллы. Общим признаком формы становится двухчастность композиции, причем в первой части главные герои как бы осваиваются в окружающем их мире, а в завершении второй части сталкиваются с новыми жизненными

задачами. В "Записках" присутствует рассказчик, в "Ином мире" – подлинный автор. Рассказчик "Записок" – Александр Петрович Горянчиков, портрет которого представлен во "Введении". Это наблюдатель и комментатор, отличный от автора. Он озвучивает авторскую общественно-политическую программу "почвенничества", но почти никогда не становится центром событий романа. Посредством рассказчика автор выносит за скобки подробности собственного судебного процесса. "Иной мир", напротив, явно автобиографичен: автор припоминает важнейшее событие своей жизни и анализирует его в деталях.

Оба автора, по верному утверждению А. Свирек, моделируют замкнутое художественное пространство, которое "создает собственные нормы, запреты и правила выживания" [7. С. 59]. Перечень пространственных объектов "Записок" и "Иного мира" стандартен: бараки (казармы), кухня, больница, "театр", баня, "пропускной пункт". "Особенный уголок" в "Записках" отделен от большого мира "рукотворным" способом, в "Ином мире" – естественным, определенным географическими условиями. Обзор пространства у Достоевского характеризуется детальностью и конкретикой: "Представьте себе большой двор (...), весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов..." [16. С. 9]. У Грудзинского в соответствующих описаниях присутствует элемент символики пейзажа: лагерь, окруженный "черной стеной леса", выглядевший "как огромные глиняные разработки" (С. 32). Лагерь (острог) воспринимается "пространством" дома, которое освоено людьми, "заживо погребенными". Семантика сочетания Достоевского "мертвый дом" безусловно отрицательна: "...арестанты жили здесь как бы не у себя дома, а как будто на постоялом дворе, на походе, на этапе каком-то..." [16. С. 195–196]. Лагерное пространство в "Ином мире" столь же враждебно и чуждо человеку, но прослеживается и привязанность к лагерю, мучительная и необъяснимая. Ассоциация с родным домом возникает у Херлинга-Грудзинского, когда он слышит доносящиеся из лагеря "бряцание колодезных цепей и скрип ворот – с незапамятных времен знак ничем не замутненного покоя". (С. 220). Б. завершает рассказ с дрожью в голосе: "Я возвращался в Ерцево, словно домой" (С. 217).

"Записки из Мертвого дома" в "Ином мире" – интерпретационный центр книги. В ней соединены литературно-критическое эссе и психологическая новелла, ибо анализ произведения Достоевского неотделим от опыта заключенных. "Записки из Мертвого дома" Достоевского интерпретируются здесь двояко: автором и героиней очерка Натальей Львовной. Обоих книга Достоевского убедила в том, что лагерный кошмар существовал и всегда будет существовать, но выводы из этого убеждения делаются разные.

"Записки" Достоевского в оценке автора-заключенного – притягательны и вместе с тем отталкивающи. Херлинг-Грудзинский с горькой иронией воспринял даже радостное восклицание Горянчикова по поводу освобождения, ведь скорбной и непродолжительной будет его последующая жизнь. "Раскован мертвец" [13. С. 101], как писал В.Б. Шкловский.

Наталья Львовна – не просто читательница, она как бы настоящий персонаж Достоевского. "Записки" превратились в смысл ее существования и стали руководством к решительному действию. Наталья Львовна оказывается в "пороговой" ситуации: ей приходится выбирать между "бесконечной агонией ежедневного умирания" и "самоосвобождением через самоубийство". Восприятие ею "Записок" определяется то лаконически безнадежной формулировкой: "Мы веками живем в мертвом доме..." (С. 158), то внезапным проблеском надежды, поразившим автора. Крайняя противоречивость героини подтверждается ее портретным описанием: "На дрожащих от холода губах проступила загадочная гримаса – то ли улыбка, то ли гримаса боли" (С. 161). Наталья Львовна следует героям Достоевского. За внешне смиренным ее поведением скрывается бунт, предельный по отчаянию, разрушительный по силе.

Система персонажей "Записок" и "Иного мира" включает три типа: героя-идеалиста, наделенного твердым характером, рядового представителя арестантской

массы и предателя. Название рассказа польского писателя "Мука за веру" – принципиальное заимствование из "Записок" Достоевского. Внимание автора сосредоточено на тех, в ком, согласно русскому писателю, "внутренняя, душевная энергия сильно помогала натуре" [16. С. 47]. Историю жизни и смерти инженера Михаила Алексеевича Костылева ("Рука в огне") Херлинг-Грудзинский предваряет эпиграфом из Достоевского: "А так как совершенно без надежды жить невозможно, то он и выдумал себе исход в добровольном, почти искусственном мученичестве" [16. С. 197]. Автор "Иного мира" напрямую соотносит образ идеалиста-правдоискателя Костылева с эпизодическими персонажами Достоевского, которые воспринимают страдание сквозь призму религии. Например, со стариком-раскольником из стародубовских слобод, обаяние которого невысказанно сочетается с преступлением, совершенным из стремления принять "муку за веру". Его, как и арестанта, напавшего на офицера с целью "пострадать", Достоевский называет "отчаявшимися".

Костылев – прямой наследник героев Достоевского. Херлинг-Грудзинский возводит генеалогию персонажа к "поколениям русских мистиков" (С. 74). Костылев отказывается быть "винтиком" и спасает в себе человечность посредством страшного самоистязания, принимая в итоге мученическую смерть. Его прошлое – история молодого советского интеллигента, который пережил кризис во взглядах, был брошен в застенки НКВД и попал в тиски крайне жестокого следствия. Характер Костылева проявляется в его портрете, который отмечен диссонансами, свойственными стилю Достоевского: "В особенности губы, судорожно сжатые, сразу ассоциировались с портретами средневековых монахов (...). При чтении в уголках его губ блуждала чарующе наивная, почти детская улыбка" (С. 83). История Костылева больно отзывается в душе автора. Облик матери главного героя – лейтмотив рассказа. Представляя ее несчастье, автор не сдерживает прямого восклицания (редкий пример видимого беспокойства повествователя): "О, если бы это видел тот, кто своим одиноким и отчаянным безумием, своей детской, слепой тоской по свободе давно иссушил у нее все слезы!" (С. 86).

Черты характера (стойкость, предприимчивость), а также удачливость арестантов проверяются в романах Достоевского и Грудзинского экстремальными ситуациями бунта или побега. Герои вступают в спор с судьбой, и этот вызов оборачивается обычно их поражением. Рассказчик "Мертвого дома", не участвующий ни в "претензии", ни в победе, рассматривает эти случаи как внешний наблюдатель. Неудавшееся бегство Куликова и А-ва воспринимается среди арестантов даже анекдотически. Для Херлинга-Грудзинского подобные истории от начала и до конца драматичны: пессимистический рассказ Русто Каринена, которому глубоко сочувствуют все слушатели, включая автора, и голодовка поляков, исчерпавшая последние резервы их воли, и все же приведшая к свободе.

Герои "Мертвого дома" нередко сами стремятся к страданию. Орлов с мыслями о новом побеге переносит многочисленные палочные удары. Персонажи "Иного мира" испытывают в наиболее кризисные моменты тягу к смерти, которая долженствует стать освобождением. Например, анонимный старец – "современный Иов", – у которого коллективизация отняла имущество и который перенес пытку в ходе следствия. Мысль о смерти вызывает в нем почти религиозный трепет.

"Середину" арестантского коллектива в "Записках" представляет Аким Акимыч, который, по В.Б. Шкловскому, является "Вергилием", вводящим рассказчика в "мертвый дом" [13. С. 104]. "Вергилий" "Иного мира" – это, вне сомнения, Димка, покровительствующий автору, весьма загадочный для него персонаж. В Димке, священнике, сбросившем рясу, бессознательно уживаются "инстинктивно религиозное отношение к страданию", о котором как о русской черте характера писал Достоевский, и стремление обязательно сохранить жизнь (С. 210). "Двойник" Акима Акимыча в "Ином мире" – это и Михаил Степанович В., единственный, по Грудзинскому, обитатель Ерево, который верит в справедливость своего наказания. Автор изображает Михаила Степановича юмористически, с заметной долей симпатии:

"Было в нем нечто старорежимное..." (С. 104), Выделяются в массовых сценах герои-артисты. Саша Баклушин из "Мертвого дома" и Всеволод Пастушенко из "Иного мира" пользуются особенной популярностью заключенных. Арест обоих персонажей вызван любовными историями, причем оба пострадали из-за доноса. Исай Бумштейн из "Мертвого дома" и Зелик Лейман из "Иного мира" отличаются склонностью к рисовке: Бумштейн щеголяет иудейскими обрядами, а Лейман "развлекал (...) дифирамбами в честь Сталина и достижений Октябрьской революции", за что пользовался дурной репутацией среди заключенных (С. 166).

В "Мертвом доме" и "Ином мире" изображаются арестантские "корпорации", члены которых обособлены от других арестантов. Они выделяются и обликом, и поведением. У Достоевского это поляки ("Товарищи"), у Грудзинского – бывшие немецкие коммунисты ("Drei Kameraden"). Но если у Достоевского есть оттенок холодности в общении рассказчика с польскими арестантами, то Грудзинский, напротив, стремится изобразить немцев, оказавшихся между немецким концлагерем и советским заключением, с максимальной долей сочувствия.

"Антигерои" "Мертвого дома" и "Иного мира" – это доносчики, устраивающие свое благополучие на чужом страдании. Рассказчик "Мертвого дома" излагает историю доноса А-ва на товарища. Соответствующий персонаж "Иного мира" – Махапетян, казавшийся автору "другом ближе брата" (С. 177). Неслучайно автор не высказывает слов понимания бывшему заключенному, исповедующемуся в предательстве. Автор избегает прямолинейного осуждения, поскольку знает, как лагерь ломал души людей. Он приводит цитату из Достоевского: "Трудно представить, до чего можно исказить природу человеческую" [16. С. 153].

Достоевский и Херлинг-Грудзинский постигают внутренний мир палачей и жертв. Достоевский сосредотачивает внимание на психологии палача, усматривая в ней деградацию человека (ср. "Продолжение" главы "Госпиталь"). Рассказы Грудзинского "Мука за веру" и "Рука в огне" оказываются словно бы ответами на вопрос рассказчика "Мертвого дома": что чувствует жертва? Жертвенность, с позиции автора "Иного мира", есть общечеловеческий удел и ключ к постижению природы человека [3. С. 75].

Тема жертвы и палача раскрывается вставными новеллами Достоевского "Акулькин муж" и Херлинга-Грудзинского о Марусе и Ковале. Достоевский представляет слово "палачу" Шишкову, объясняющему, как и за что он убил жену. Этот персонаж самоутверждается посредством тиранической власти над женой и впоследствии ее зверского убийства. Примитивность сознания палача раскрыта у Достоевского очень убедительно. Херлинг передает эмоции жертвы и палача вне исповеди действующих лиц. Жертва, как и у Достоевского, изображается сочувственно. Завязка рассказа – грубо физиологическая сцена насилия. В дальнейшем Маруся пытается найти покровительство в главаре разбойников, и в итоге Коваль предает ее, избегая конфликта с "товарищами по оружию".

Авторы "Мертвого дома" и "Иного мира" чутко воспринимают немногочисленные проявления добросердечности арестантов, укрепляя тем самым веру в нравственность человека. Жертва вызывает авторское восхищение, если сохраняет нравственные ориентиры в критических ситуациях. Трагическая история медсестры Евгении Федоровны, ее краткого "воскресения" и гибели, подтверждает, что критерий человечности – самопожертвование.

Сюжетно-композиционное сходжение "Иного мира" с "Записками" С. Стабро метко назвал "интертекстуальной игрой" [6. С. 21]. Для Херлинга-Грудзинского это не только способ изложить лагерный опыт в классически совершенной форме, но и диалог с русским писателем, который постиг нравственное бытие человека перед угрозой небытия.

3. "Иной мир" и "Записки охотника"

"Иной мир" Херлинга-Грудзинского возрождает в XX в. русскую традицию "записок". Т. Бурек предположил связь "Иного мира" не только с "Записками из Мертвого

дома", но и с "Записками охотника" Тургенева, а также школой "физиологического" очерка в целом. Форма "записок", верно полагает исследователь, основывается на "разрыве с пафосом и риторикой позднеромантического психологизма" [6. S. 12].

"Записки охотника" и "Иной мир" состоят из наблюдений и бесед рассказчика (или подлинного автора) с неординарными людьми. В "Записках охотника" имеет место сословная, в "Ином мире" – национальная чуждость рассказчика (автора), который осваивается в малознакомом ему мире благодаря персонажу-проводнику. Это Ермолай в "Записках" и Димка в "Ином мире", которые безупречно разбираются в практических вопросах (охота, наука выживания в лагере) и не покидают рассказчика (автора) на протяжении всего действия.

Херлинг-Грудзинский, подобно русскому классику, практикует приемы портретного диптиха (у Тургенева, например, "Два помещика", у Херлинга-Грудзинского – Михаил Степанович и немец С. в "Воскресенье"), триптиха (персонажи рассказа "Малиновая вода" – Димка, Садовский и М. в очерке "Мертвецкая"), массовой картины ("Бежин луг" – камера с символическим № 37 в "Витебск – Ленинград – Вологда"). "Иной мир", в отличие от записок XIX в., наделен признаками документального свидетельства. Персонажи Тургенева имеют вымышленные имена, тогда как герои Херлинга сохраняют имена прототипов, нередко в сокращенном варианте.

4. "Иной мир" и "Архипелаг ГУЛАГ"

"Архипелаг ГУЛАГ" (1958–1968) – трактат о "тюремной цивилизации", который стал кульминационным моментом в развитии "лагерной" прозы. Херлинг-Грудзинский, сопоставив второй том книги Солженицына с "Иным миром", пронизательно и метко охарактеризовал труд русского писателя посредством "археологической" метафоры: "...я вижу прозаика, который с упорством и яростью копает твердую, замерзшую, окаменевшую землю, скрывающую прах миллионов замученных и убитых. (...) Для меня, что скрывать, чтение тяжелое: снова иной мир, полузабытый архипелаг усопших, возрождается в памяти" [1. Т. 4. S.90–91]. "Иной мир" и "Архипелаг", превышая уровень обыкновенного источника информации, обрели статус "памятников" ГУЛАГа. Повествование имеет интеллектуально-познавательное (исследование), этическое (исповедь) и эстетическое измерения (летопись).

Аналогия "Иного мира" и "Архипелага" состоит в образе автора – наблюдателя и исследователя, различие – в жанре произведений. "Иной мир" представляет собой роман в форме воспоминаний, "Архипелаг" – "опыт исследования", которому причастен, по Солженицыну, целый авторский коллектив. "Иной мир" явно автобиографичен: границы повествования определяются местом и сроком заключения Херлинга-Грудзинского, а все персонажи знакомы с ним лично. Солженицын берет на себя роль историка ГУЛАГа, поэтому произведение приобретает общенациональный масштаб. Автор "Архипелага" объединяет научно-статистический метод изложения с совокупностью приемов художественной выразительности.

"Иной мир" – один из первых шагов в исследовании лагерной истории. Интеллектуальный потенциал "Иного мира" реализуется внутри автобиографического повествования. Исследование Солженицына, напротив, вбирает в себя автобиографические мотивы, наряду с иными сюжетными "пунктирами", например, историей Василия Григорьевича Власова или упоминаниями Ивана Денисовича Шухова, героя одноименного рассказа.

"Иной мир" и "Архипелаг" содержат социологические комментарии к ГУЛАГу. Автор "Иного мира" лишь предполагает, каковы истоки ГУЛАГа, поскольку в 1949–1950 гг. он не мог иметь обширных сведений, "скрестившихся" позже на создателе "Архипелага". Херлинг-Грудзинский считает "первопроходческим" период существования лагерей в 1937–1940 гг., называя "тридцать седьмой" началом новой эры. Это соответствовало истории Ерцево – одного из "островов" Каргопольлага, но далеко не всей тюремной "цивилизации". Солженицын создает полномасштабную картину ГУЛАГа, опираясь на разноплановые источники: от цитат из "классиков" до

свидетельств заключенных. Исследуя ГУЛАГ уже после его кончины, писатель констатирует закономерность его гибели и отводит ему максимально широкие хронологические пределы: 1918–1956 гг.

Херлинг-Грудзинский создает структуру бытописательных очерков и публицистических отступлений. Он изображает лагерь в "обратной перспективе" заключенного, которому знакома лагерная повседневность, но не до конца ясны принцип и происхождение ГУЛАГовского механизма, жертвой которого он стал. Предыстория "архипелага" приоткрывается в разговорах автора с осведомленными людьми, оговорках бывшего чекиста Горцева или – последний аккорд пребывания Херлинга в лагере – в безумном крике Садовского, графически выделенном в тексте: "ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ! РАССТРЕЛЯТЬ! К СТЕНКЕ!" (С. 219).

"Архипелаг" имеет прямую повествовательную перспективу. Автор выявляет идеологическую и экономическую мотивацию лагерей ("На чем стоит Архипелаг"). Авторская мысль пребывает вне какого-либо "особенного уголка". Она охватывает все политические судебные процессы ("Закон-ребенок", "Закон мужает", "Закон созрел"), продвигается от "первого раннего утра" ("Персты Авроры") к "метастазам" Архипелага и затем к периоду его "окаменения", останавливается на Соловках, Беломорканале и Колыме – важнейших географических точках карты ГУЛАГа. "Архипелаг" отличается от "Иного мира" способом исследования. Для Херлинга толчком к рефлексии может послужить единичный, но красноречивый факт. Солженицын последовательно реализует метод дедукции, переходя от теории ГУЛАГа к его практике.

"Иной мир" и "Архипелаг" имеют явные параллели бытописательных разделов, например, "Ночная охота" – "Фашистов привезли" (очерки о первом дне), "Работа" – "Туземный быт" (об "общих" работах), "Голод" – "Женщина в лагере" (о женской участи). Ситуации побегов и виды изоляторов Херлинг представляет рассказами Русто Каринена и рассказом "Мука за веру", автор "Архипелага" – сериями картин ("Менять судьбу", "ШИЗО, БУРЫ, ЗУРЫ"). Польский писатель с особой теплотой и признательностью отзывается о персонале ерцевской больницы, Солженицын же развенчивает общераспространенную легенду о санчасти. Описания Херлинга всегда сопряжены с личностными переживаниями, тогда как Солженицын выступает в роли социолога и политолога.

Мотивы исповеди присутствуют в рассказах Херлинга-Грудзинского "Мука за веру", "Падение Парижа" и в четвертой части книги Солженицына "Душа и колючая проволока". Солженицын изображает путь восхождения: "О, как же трудно, как трудно становиться человеком!" [17. Т. 2. С.339]. Херлинг-Грудзинский – путь возвращения в мир подлинно человеческих взаимоотношений: "Я с таким трудом вернулся к людям" (С. 238). Польский писатель ближе, чем Солженицын, к пессимизму Шаламова. Полтора года его заключения стали периодом корректировки мировоззрения, что подтверждает, например, лаконичная фраза в "дневнике": "Можно усомниться в человеке и смысле борьбы за то, чтобы ему лучше жилось на земле" (С. 232). Автор знает возвышенные, но редкие примеры протеста против ГУЛАГа во имя спасения "остатков человечности". Голод и боль, свидетельствует Херлинг-Грудзинский, суть испытания, перед которыми люди, как правило, ломаются и изменяют себе.

Русский писатель высказывает требование самосовершенствования вопреки лагерьной безнадежности. Солженицын подчеркивает, что за десятилетие в ГУЛАГе он сам отказался от мести и жестокости, избрал путь терпения и покаяния. Его эволюция предстает как рост – прямое вертикальное движение вверх. Исповедь Солженицына преобразуется в духовно-нравственную проповедь: "...пересмотри свою прежнюю жизнь. Вспомни все, что ты сделал плохого и постыдного и думай – нельзя ли исправить теперь?.." [17. Т. 2. С. 566]. Знаки вопроса и многоточие – это подтверждение внутреннего сомнения: всегда ли удастся возвыситься душой? Солженицын признает невозможность приемлемого для всех случаев ответа.

Суждение Херлинга-Грудзинского об авторе "Архипелага" можно распространить на прозу самого польского писателя: "...единой темой лучших произведений Солже-

нищина есть окончательное, пограничное испытание человечества" [11. С. 480]. Как и Солженицын, он затрагивает сложнейшие ситуации выбора между порядочностью и доношением. Грудзинский описывает, например, трагедию человека, спасшегося предательством. Фоном личной тупиковой ситуации служит историческая катастрофа 1939 г. ("Падение Парижа"). Солженицын в автобиографическом рассказе-вставке "как меня вербовали" создает иной сюжетный рисунок: "скольжение" (но не падение!) заставляет решительно пересмотреть жизнь. Развязки этих разных историй показывают, что идея внутренней свободы – абсолютная ценность для автора "Иного мира", идея жизни и обретение смысла жизни – для автора "Архипелага". Освобождение через гибель, сознает польский автор, есть единственное, на что может рассчитывать человек отчаявшийся, но сохранивший верность этическим принципам. Солженицын, высказывая протест против ГУЛАГа, приемлет жизнь в разных проявлениях и, как ни парадоксально, благословляет тюрьму как страдание на пути к совершенствованию.

"Иной мир" и "Архипелаг", два современных вида летописи, подчиняются этической сверхзадаче: ответственностью перед историей и долгом перед погибшими в ГУЛАГе. Херлинг-Грудзинский выполняет завет погибших товарищей: "Говори всю правду, какими мы были; говори, до чего нас довели" (С. 132). Солженицын посвящает книгу всем, "кому не хватило жизни об этом рассказать" [17. Т. 1. С. 7]. Стиль летописи отличается объективностью и спокойствием. Летописец составляет свод преданий, избегая прямолинейных оценок. Солженицын сформулировал кредо летописца, внимающего беседам эков: "Тянутся с острова на остров тонкие пряди человеческих жизней (...), а ты ухо приклони к их тихому жужжанию и ровному стуку над вагоном. Ведь это постукивает – веретено жизни" [17. Т. 1. С. 493]. Сам Херлинг-Грудзинский почувствовал родство услышанных им в лагере рассказов "шепотом" открытому публицистическому слову Солженицына [11. С. 482–483].

Сдержанное повествование Херлинга-Грудзинского в высокой мере отвечает канону летописи. Автор хранит молчание, услышав исповедь предателя, при этом заново ощутив ужасающую реальность "иного" мира. Авторские чувства проявляются лишь в немногочисленных восклицаниях и риторических вопросах.

Летописный канон спокойствия не столь последовательно выдержан в прозе Солженицына, насыщенной речевой экспрессией. Курсив прописными буквами у Солженицына подобен, по мнению польского писателя, "удару киркой или ломом" [1. Т. 4. С. 90–91]. Единичный факт превращается в сильнейший аргумент для обвинения власти. Например, автор "Архипелага" потрясен расправой карательных органов с колхозниками: "Если бы Сталин никогда и никого больше не убил, – то только за этих шестерых царскосельских мужиков я бы считал его достойным четвертования!" [17. Т. 1. С. 424–425].

Пути летописцев (совпадение или сознательный прием Солженицына?) пересекаются в одной точке ГУЛАГа: станция Ерцево Архангельской области. В обеих книгах даны пейзажные зарисовки, ключевые для смысла произведений. Мотивы "непроглядной ночи" (Херлинг-Грудзинский) и "темной тайги" (Солженицын) привносят момент трагизма в повествование. "Последние звезды" и "полярное сияние" акцентируют вертикаль человек – мироздание. Автор "Иного мира" останавливается в конкретной точке пространства – возле барачных бараков. Дорога, символ Солженицына, предполагает горизонтальный охват разнообразного фактического материала.

"Иной мир" сопряжен с "Архипелагом ГУЛАГ" проблематикой, нравственной и политической. Закономерен интерес Херлинга-Грудзинского, писателя и критика, к творчеству Солженицына и лагерной литературе в целом.

5. "Иной мир" и "Колымские рассказы"

Херлинг-Грудзинский утверждает принцип "аскетизма" в отборе художественно-речевых средств. Критики сближали его метод с манерой повествования Дефо и Шаламова (И. Фурнал) [3. С. 146]. По свидетельству самого писателя, "Хроника

времен чумы" Дефо послужила ему ориентиром при написании "Иного мира" [1. Т. 4. С. 438]. "Колымские рассказы", начало создания которых – 1954 год (три года спустя после первого издания "Иного мира" на Западе), представляют собой "преобразенные" документы из истории лагерей Крайнего Севера. Преднамеренная безыскусственность русского прозаика есть подлинный критерий его искусства. Строй "Колымских рассказов", отметил впоследствии Херлинг-Грудзинский, – "предметный, присущий скорее автору хроники или отчета, чем новеллисту" [1. Т. 4. С. 381].

"Иной мир" и "Колымские рассказы" близки и лагерной тематикой, и лаконизмом стиля. Образ "иного" мира, заявленный у Херлинга-Грудзинского названием, часто встречается и в прозе Шаламова, например, в пейзаже: "Это был как бы второй, ночной облик мира" [18]. Мотив неизменности "иного" мира почти идентичен в высказываниях Натальи Львовны, героини произведения Грудзинского, и в утверждении колымского повествователя, который вспоминает "Записки" Шереметевой-Долгоруковой, жены опального князя ("Воскрешение лиственницы").

Различие между книгами – в продолжительности лагерного опыта их авторов: полтора года и двадцать лет. Колыма в сравнении с Ерцево – последний круг Дантова ада, крайняя степень абсурда. Если герои "Иного мира" опасаются обнаружить надежду, то обитатели Колымы полностью отвыкают от надежды, участия в своей судьбе, воспоминаний о жизни до "смерти".

Трагичность лагеря, по Грудзинскому и Шаламову, – в угрозе человеческому достоинству. Психика заключенного деформируется вынужденной ненавистью к труду, бездушным и даже коварным отношением к товарищам. Проблема бунта и его очищающей силы является одним из сюжетных центров "лагерной" прозы. Фраза Долорес Ибаррури ("Лучше умереть стоя, чем жить на коленях") на страницах "Иного мира" и "Колымских рассказов" есть ярчайшая аналогия, но и красноречивое свидетельство расхождения двух произведений. Герои Грудзинского воспринимают идею своевольного освобождения с затаенным энтузиазмом ("Записки из Мертвого дома"). Персонаж Шаламова реагирует скептически на соблазн побега, подозревая провокацию ("Сгущенное молоко"). История гибели майора Пугачева и одиннадцати его товарищей есть редчайший, хотя чрезвычайно важный случай в колымской повседневности.

Шаламов придает всем лагерным событиям больший, нежели Грудзинский, драматизм. Банный день – не будничное явление, а источник отвращения и страха. Игра в карты заканчивается не изъятием вещи у менее сильного, а его убийством. Создатель "Колымских рассказов" развенчивает "спасительную" мечту о "выходном дне" ("Выходной день", "Припадок"), раскрывает неоднозначную роль медиков, которые могут спасти заключенного ("Домино") или причинить страдание худшее, чем работа на золотых приисках ("Шоковая терапия"). История Грудзинского о казаке Панфилове и его "блудном" сыне Саше заканчивается, в соответствии с примером Евангелия, раскаянием сына и прощением отца. Шаламов и его герои исключают традиционную развязку. Адам Фризоргер так и не узнал, что его дочь отреклась от него ("Апостол Павел").

Трактовка "Записок из Мертвого дома" в "Ином мире" и "Колымских рассказах" диаметрально противоположна. Херлинг-Грудзинский сближает свои литературные искания с веком Достоевского. Шаламов противопоставляет литературной "легенде" о "мертвом доме" колымскую реальность, а традиционному жанру романа – "новую прозу", принцип которой писатель определил так: "Я тоже считаю себя наследником, но не гуманной русской литературы XIX века, а наследником модернизма начала (нрзб) века (...). Очерк документальный доведен до крайней степени художественной" [19]. Шаламов подвергает преобразовательному всемогуществу искусства, способному, по справедливому утверждению Е.В. Волковой, претворить в космос даже хаос Колымы [20].

"Иной мир" содержит единый пространственно-временной план и строго логические переходы от панорамы быта к психологическому исследованию. Построение

"Колымских рассказов", напротив, фрагментарно. Северо-Восток в изображении Шаламова лишен видимых границ ("По снегу"). Человек сам задает ориентиры пути, его личные переживания несводимы к опыту остальных. Герои Шаламова отказываются от планов на долгую перспективу, их кругозор, в отличие от ряда персонажей Грудзинского, неотвратно сужается, поэтому "могильная замкнутость пространства", согласно верному замечанию Л. Тимофеева, "есть постоянный и настойчивый мотив творчества писателя" [21].

Поэтика Херлинга и Шаламова сходна емкими и выразительными концовками новелл, предпочтением предметно-бытовых названий, использованием натуралистических деталей в описании.

Колымская проза Шаламова сопоставима с "метафизической" новеллистикой Херлинга-Грудзинского, в центре которой – тема человеческого страдания. Неслучайно один из своих рассказов – "Клеймо" (1982), стилизованный "последний колымский рассказ", польский писатель посвятил смерти Шаламова.

Херлинг-Грудзинский привык считать себя приверженцем классической литературы, в которой почетное место занимает русская словесность. Роман "Иной мир" продолжает традицию "записок" Достоевского и Тургенева. Но "Иной мир" есть также современный документ, который сам автор ставит в контекст "Архипелага ГУЛАГ" и "Колымских рассказов". Творческая мысль писателя – на границе исторического предания и текущей действительности, образа и факта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Herling-Grudziński G. Pisma zebrane. Dziennik pisany nocą 1984–1988. Warszawa, 1996. T. 1.* – Перевод здесь и далее Л.М.
2. *Kudelski Z. Posłowie (w:) Herling-Grudziński G. Pisma zebrane. Inny świat. Warszawa, 1998.*
3. *Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów. Lublin, 1997.*
4. *Хорев В.А. Польская литература // История литератур Восточной Европы 1945–1960. М., 1995. Т. 1. С. 118.*
5. *Wyka M. Nasz wiek według Herlinga-Grudzińskiego (w:) Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim. Poznań, 1991. S. 147; Borkowska G. G. Herling-Grudziński: korzenie twórczości (w:) Sporne – postaci literatury współczesnej. Kontynuacje. Warszawa, 1996. S. 115–116.*
6. *Burek T. Cały ten okropny świat. Sztuka pamięci głębokiej a zapiski w Innym świecie (w:) Etos i artyzm...*
7. *O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Kielce, 1992.*
8. *Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków, 1992.*
9. *Bolecki W. Ciemny Staw. Warszawa, 1991. S. 35.*
10. *Pomian K. Manicheizm na użytek naszych czasów (w:) Herling-Grudziński G. Pisma zebrane. Dziennik pisany nocą 1971–1972. Warszawa, 1995. T. 3. S. 6.*
11. *Herling-Grudziński G. Pisma zebrane. Godzina cieni. Warszawa, 1997. T. 8.*
12. *Герлинг-Грудзинский Г. Иной мир. Советские записки. М., 1991.*
13. *Шкловский В.Б. За и против. Заметки о Достоевском. М., 1957.*
14. *Karpiński W. Lustro Innego świata (w:) Karpiński W. Książki zbójcekie. Warszawa, 1986. S. 211.*
15. *Лотман Ю.М. Тест в тексте // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 153.*
16. *Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1972. Т. 4.*
17. *Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. В 3-х т. М., 1989.*
18. *Шаламов В.Т. Собрание сочинений. В 4-х т. М., 1998. С. 15.*
19. *Шаламов В.Т. Из записных книжек // Знамя. 1995. № 6. С. 155.*
20. *Волкова Е.В. Парадоксы катарсиса Варлама Шаламова // Вопросы философии. 1996. № 11.*
21. *Тимофеев Л. Поэтика лагерной прозы // Октябрь. 1991. № 3. С. 186.*



© 2000 г. В. БЛАНАР

ИДЕЙНО-ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТРУДОВ АНТОНА БЕРНОЛАКА

Введение

Словацкие языковедение, литературоведение, история, биобиблиография и другие дисциплины уделяли трудам А. Бернолака и бернолаковской эпохе достаточно большое внимание. Оценивалась орфографическая кодификация Бернолака (Г. Бартек [1], Я. Станислав [2], И. Котулич [3] и др.). Общий анализ его трудов после Г. Бартека представила К. Габовштякова [5]. Из новейших синтетических работ отметим монографию Я. Поважана [6] и сборник статей о жизни и творчестве Бернолака [7]. П. Хорват исследовал происхождение и судьбу бернолаковской семьи, а также многие обстоятельства жизни и деятельности первого кодификатора литературного словацкого языка [8]. Наши знания о трудах Бернолака и бернолаковцев особенно расширили доклады на юбилейных конференциях (1964, 1992). Многие исследователи рассмотрели частные вопросы. В ряде работ была подтверждена перспективность новых методологических подходов, например: социолингвистический ракурс при анализе "Словаря" Бернолака [9], рассмотрение "Словаря" с точки зрения типологической семасиологии, возможность реконструкции собственной модели авторов бернолаковской орфографической кодификации [10; 11; 12]. Глубокому пониманию различных сторон творчества Бернолака, а также пониманию процесса идейного брожения в первой фазе национального возрождения в Словакии способствовало изучение книжного и рукописного наследия Бернолака, ознакомление с найденной рукописью "Nova bibliotheca theologica selecta", обнаружение и анализ копии введения к "Словарю", относящегося к 1796 г., описание жизни и творчества "словацкого Сократа" А.Ф. Коллара [13; 14. S. 22–42]. Лингвистические труды Бернолака стали доступными широкой общественности благодаря достойному похвалы переводу Я. Павелека: издание параллельного латинского и словацкого текста с введением Э. Паулини [15]. Как и всякое новаторское начинание, лингвистические труды Бернолака были встречены и с искренней симпатией, и с критическими, порой резко отрицательными, оценками. В свете новейших исследований утратили значение, например, отрицательное отношение к кодификации Бернолака Й. Добровского, несогласие Я. Влчека с упразднением Бернолаком фонемы *u*, отрицание М. Вейнгартном научной ценности "Словаря" или "мадьяронство" Бернолака в интерпретации Д. Рапанта.

На XI Международном съезде славистов в Братиславе (1993) с новым взглядом на "рабочую кухню" Бернолака выступил боннский славист Г. Кайперт [16; 17]. Он показал, что грамматические труды Бернолака последовательно опираются на латинскую обработку Ф.А. Шлёгелем [18]¹ учебного пособия "Verbesserte Anleitung zur deutschen Sprachlehre" (1779), которое с конца XVIII в. было общей методической базой славянских учебников немецкого языка. Утверждения Кайперта дают импульс к основательному анализу зависимости бернолаковских трудов от учебного пособия Шлёгеля, а также анализу общих принципов лингвистических трудов первого кодификатора словацкого литературного языка.

I. Лингвистические труды Бернолака нельзя рассматривать в отрыве от движения европейской мысли XVII в. ("sicle de la lumiere") – от просветительства в австрийской монархии. Просветительские идеи нашли поддержку императорского двора в Вене, однако приобрели здесь особую форму просвещенного абсолютизма. В эпоху национального возрождения на обломках распадавшегося феодализма укрепляются элементы капиталистических отношений, возрастающее национальное самосознание ведет к формированию современных национальных образований, при этом на передний план выступают языковые вопросы; формируются общенациональные литературные языки. Просветительские идеи соединяются с возрожденческо-будительскими устремлениями (см.: [19. S. 64; 20–23]).

В Словакии просветительские идеи укоренились главным образом среди молодых образованных людей (заметной была активность мещанства). В то время как евангелическая интеллигенция знакомилась с просветительством по большей части в немецких университетах, в среде словацких католических просветителей проявлялось прежде всего культурное влияние Вены. К числу важных просветительских центров относились католические семинарии в Трнаве, Братиславе и Вене, а с 1771 г. и филиал высшего теологического училища в Вене – Генеральная семинария в Братиславе, где учились по преимуществу слушатели из словацких непривилегированных слоев. Принципиальным изменением в австрийском школьном образовании стал переход школ из рук церкви под управление государства. Распространению просветительского духа в семинариях способствовало введение новых предметов: религиозная и гражданская толерантность, гражданское право и рациональное естественное право, естественные науки и медицина (см.: [14]). Серьезный вклад в реорганизацию школы в монархии внесли видный историк, филолог и поэт Адам Франтишек Коллар (1718–1783) и руководитель учебной части теологического факультета венского университета Ш. Раутенштраух. О духе реформаторского католицизма в государственной генеральной семинарии свидетельствует подборка рекомендованной для изучения специальной литературы – "Nova bibliotheca theologica selecta". Ряд названных в нем произведений имел в своей библиотеке А. Бернолак. Многие профессора на теологических семинарах выступали как сторонники просветительского рационализма. Они говорили о новых задачах священников в обществе и в церкви, о необходимости распространять вероучение на понятном народу языке. Проф. М. Кратохвиля, например, сам читал лекции и принимал экзамены по специальным предметам на словацком языке. Ценные сведения об общей идейной ориентации тогдашних словацких семинаристов предоставляет газета "Prešpúrské Noviny" (1783–1787) (см.: [24]). На ее страницах, несмотря на чешское одеяние² (в последние годы со словакизмами) и жесткую цензуру проявлялся национальный дух и горячий патриотизм редактора газеты Юрая Лешака и многих авторов, среди которых были и национально ориентированные семинаристы.

¹ Благодарю проф. Г. Кайперта за любезное предоставление мне этой, в настоящее время уникальной, грамматики Шлёгеля.

² Для истории литературного словацкого языка интересен тот факт, что еще до выхода в свет "Prešpúrské Noviny" была предпринята первая (безуспешная) попытка кодификации литературного словацкого языка. Редактор Ю. Лешак намеревался издавать газету на народном словацком языке, однако проф. Й.В. Злобицкий и верховный канцлер Л. Коловрат сумели добиться решения Тайной канцелярии в Вене на издание газеты на чешском языке (ср.: [14. S. 26–27]).

Семинаристы во главе с Бернолаком осознали, что просветительскую деятельность среди словацкого народа необходимо связать с литературным словацким языком и прежде всего с унифицированным правописанием. Коллективные усилия этих "любителей словацкой речи" достигли кульминации и реализовались в первой кодификации словацкого литературного языка как характерном атрибуте формирующейся словацкой национальной общности. Уже в 1774 г. в газете "Prešpúrské Noviny" публикуются краткие орфографические правила словацкого языка, большое внимание уделяется разработке единой орфографической нормы. Эту задачу ставили перед собой талантливые, филологически подготовленные семинаристы, среди которых выделялись А. Бернолак, Ю. Палкович и Ю. Фандли. "Prešpúrské Noviny" (1787, № 49. S. 286) с одобрением встречают публикацию сочинения "Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum" [25], отмечая, что над ним работало "много любителей словацкой речи".

Рассмотрим идейно-философскую базу и методологические принципы лингвистических трудов Бернолака.

II. Идейно-философская база.

II.1. Идейные принципы и общественно-политические позиции, которые образуют широкие рамки концепции кодификаторской деятельности Бернолака, связаны с общим климатом просветительского рационализма в австрийской монархии. О кругозоре и научной ориентации молодого Бернолака говорят сочинения из его архива, рекомендательный список учебной литературы, найденная копия введения (1796) к "Словарю" [9], первая половина которого была в сокращенном виде напечатана в 1825 г., а также прямые цитаты из использованной литературы разных авторов. Идейно-философские позиции Бернолака с разных точек зрения освещали Я. Тибенский [13; 19; 26], Л. Смирнов [22], М. Вывиялова [14] и др.

Антон Бернолак и бернолаковцы провозглашают себя сторонниками гражданского государства (в противовес тогдашнему сословному), которое должно основываться на федеративном принципе в рамках австрийской монархии. В нем предполагается равенство всех граждан независимо от их национальной, религиозной и социальной принадлежности. Большая роль отводится мещанству, крестьянству и интеллигенции из народа. Акцент на антифеодальную программу, на освобождение поработанного человека является важным элементом национально-освободительной идеологии бернолаковцев. Корни многих идейно-философских положений и принципов восходят к трудам английских философов Дж. Локка и Т. Гоббса. Из наследия Гоббса черпал идеи для своей теории политической власти и А.Ф. Коллар. Некоторые его работы обнаружены среди книг Бернолака [27]. В братиславской семинарии на этих идеях воспитывались словацкие студенты, "на них формировалось характерное для нового времени мировоззрение Бернолака, который после М. Бела и А.Ф. Коллара стал достойным продолжателем создания идеологии современной словацкой нации". Бернолак и бернолаковцы могли опереться на отмеченные Белом и Колларом конститутивные элементы формирующейся современной словацкой нации, а именно на территориальную, историческую (существование Великой Моравии) и языковую преемственность. Этим они обосновывали историческое право словаков на равное с остальными народностями политическое положение в Венгрии. Важным элементом просветительской идеологии было требование национальной и религиозной терпимости. Считалось, что более тесное сближение, интеграция словацкого, венгерского и немецкого этносов в Венгрии должно быть достигнуто при помощи устной коммуникации. Общим государственным языком в монархии была латынь. Латинские, немецкие и венгерские эквиваленты в пятиязычном "Словаре" призваны были помочь в общении между словаками, немцами и венграми и устранить препятствия на пути сближения членов гражданского общества в Венгрии. Гражданская терпимость, существенный элемент просветительской идеологии, должна учитываться, когда определяется обоснованность выдвигаемых порой обвинений Бернолака в мадьяронстве. Правильная интерпретация не только инкриминированного места во введении к "Словарю" (см. [28; 6] и др.), но и всего введения и тем более лингвистических трудов Бер-

нолака в целом дает основание квалифицировать постановку вопроса о бернолаковском "мадьяронстве" как неисторическую.

Бернолаковская национальная идеология, в которой проявляются, как иногда говорится, остатки "кроткого феодального национализма", еще связана со старыми представлениями о древнем славянском народе, разделенном на племена (народности), говорящие на отдельных языках (наречиях). По этим представлениям паннонские славяне образуют самостоятельное славянское племя (подробнее см.: [29]). Похвалу Бела славянскому языку Бернолак относит и к словацкому языку. "Паннонские славяне (паннонцы)" являются преемниками древних жителей Великой Моравии. Требование обеспечения национального суверенитета являлось составной частью национально-возрожденческой идеологии бернолаковцев.

Молодые семинаристы с пониманием относились к требованиям, которые просвещенная государственная власть предъявляла к своим священникам: проводить церковную и просветительскую деятельность среди простого народа на его родном языке. В связи с этим на передний план выступала актуальная задача языковой подготовки священников. Необходимо было также обратить внимание и на нужды начального школьного образования. Трибуной для распространения этих идей была газета "Prešpúrské Noviny". Сторонником указанных идейно-философских взглядов провозглашал себя и Юрай Фандли. Фандли и Бернолак были представителями радикального просветительского направления, но если Бернолак основное внимание уделял реализации просветительской программы в идеологической области, то Фандли акцентировал и формулировал идею превращения феодального подданного в гражданина постфеодального государства. Словаки выступали за создание кафедры словацкого языка в университете, употребление в академических институтах наряду с венгерским словацкого языка. Как Бернолак, так и Ю. Фандли выступали за использование "паннонского словацкого языка" во всех типах школ (подробнее см.: [14]).

Бернолаковское движение стало отражением активизирующегося национального самосознания и осознания национальной ("племенной") и языковой самобытности словаков [5; 22. С. 87, 111]. Позицию бернолаковцев точно характеризуют Э. Паулини во введении к грамматическим трудам Бернолака, подготовленным к изданию Й. Павелеком: ими (бернолаковцами) заканчивается исторический период феодализма и открывается "период общенационального словацкого литературного языка, начинается систематическая работа над проблемами нормы и кодификации литературного словацкого языка" [15. S. 10].

II.2. Просветительский рационализм в лингвистических трудах Бернолака.

Просветительский рационализм оставил заметные следы не только в широкой общественно-политической позиции Бернолака, но и в его лингвистических трудах. В этом аспекте особенно показательны "Dissertatio..." [25], "Orthographia" [30] и введение (1796) к "Словарю". Бернолак стремился так формулировать грамматические правила, чтобы они соотносились с требованиями логики³. В своей аргументации он ищет доводы в самой "сущности вещей" и опирается при этом на "здравый разум"⁴. Принципы здравого смысла он сочетает с "критической филологией" [15. S. 43]. Характерен, например, логический прием, с помощью которого он отвергает графему у при наличии графемы i: "(их различие) во-первых, не является необходимым, во-вторых, оно противоречит существованию вокалических букв; наконец, в-третьих, противоречит здравому смыслу" [15. S. 43]. Установление того, противоречит или не противоречит данное явление здравому смыслу, относится к обычным приемам проверки сведений, получаемых в повседневной жизни. Истинность знания обосновывается не

³ Ср. контексты (как и в других местах, мы приводим цитаты по изданию Павелека): Preto tí ...prekračujú to pravidlo logiky, ktoré hovorí; "...a preto ho treba s ohľadom na zásady logiky zavrhnúť" [15. S. 63]; "proti správnym zásadám pravopisu i logiky" [5. S. 71].

⁴ Ср.: "radí to aj zdravý rozum" [15. S. 79]; "robit' to, čo vnukla pravda a rozum" [15. S. 25].

ссылкой на какие-либо авторитеты или чужие образцы, а эмпирическим путем. Бернолак знал и ссылался на труды пионера современного эмпиризма Дж. Беркли ("The Principles of Human Knowledge"). Он стремился найти в языке законы, подобные установленным законам природы. В согласии с учением Беркли об аналогии, Бернолак использует при изучении языка принцип языковой аналогии⁵. Ценные идеи он почерпнул также в сочинении Дж. Локка "Опыт о человеческом разумении". Во введении к "Словарю" Бернолак модифицирует идею Локка о возможности и необходимости развивать словарный состав; вместо заимствований он отдает предпочтение образованию новых слов из собственно словацких фондов.

Наиболее ярко влияние просветительской рациональной философии наблюдается в тех частях лингвистических трудов Бернолака, которые не имеют соответствия (и основы) в образцовом сочинении Ф.А. Шлёгеля "Grammatica germanica" [18]. К ним относятся "Dissertatio..." [25], введения к "Grammatica slavica" [31] и "Словарю" [9], а также сам "Словарь". Детальное исследование первого из них показало, что молодые бернолаковцы творчески использовали философско-теоретическое наследие современных им ученых, создав на его основе собственный научный метод познания. Он заключался в следующем: вычленение проблемы, критическая позиция, поиск разумного правила и его формулировка. Этот метод применялся ими при рассмотрении вопросов правописания и формулировании орфографических правил. На основе этого метода Бернолак смог адекватно оценить, например, использование графемы *j* в функции *i*, ведь эта графема не соответствовала своей функции; дело в том, что она служила для обозначения долгого ("акцентированного") произношения краткого *i*. Так же, как пишется *á* в соотношении с *a*, *ú* в соотношении с *u*, *é* в соотношении с *e*, следовало бы писать вместо прежней графемы *j* графему *í* (ср.: [12. S. 71]).

Заслуживает внимания тот факт, что в нескольких местах труда "Dissertatio..." Бернолак подчеркивает роль контекста при установлении значения слова и общего значения предложения [ср.: [5)]. Отметим, например, следующую убедительную аргументацию: "ведь исследователи почти всех языков говорят, что определенное значение одинаково написанных слов, обозначающих разные предметы, не только можно, но и нужно устанавливать из контекста" [15. S. 51]. В главе "О надлежащем употреблении разделительных знаков" Бернолак приводит интересные примеры использования тире при маркированном соединении предложений (которое мы назвали "причленением", см.: [32. S. 179]): "тире (–) (prestábi) или прерывает начатую речь, когда приходится поддаваться сильным чувствам, или подготавливает слушателя к чему-то необычному, что последует далее; или привлекает внимание к предшествующей неожиданной мысли, которая уже была высказана", (например: *Ale gestl'i twoga múdrost' ustanowila, abi zemrel – ó, bud' mu tendi pri ted strašl'iweg hod'ine přítomni* [15. S. 111]). Здесь отмечаются тонкие смысловые отношения, которые образуются между частями сложного предложения при "причленении"; контекстом в широком смысле слова в данном случае является пауза и особая интонация восклицательного предложения в придаточной части сложного предложения. Этими звуковыми средствами подчеркивается присоединение последней части сложного предложения. Правда, следует добавить, что и это интересное соображение, касающееся функции тире, имеет латинское соответствие в "Немецкой грамматике" Шлёгеля [18. S. 42–43].

III. Методологические принципы лингвистических трудов Бернолака.

III.1. Литературный словацкий язык как общенациональный язык словаков.

Лингвистические труды Бернолака находятся на границе двух эпох: феодальной и постфеодальной. В идеологических корнях его творчества еще заметны элементы старого мышления XVIII в., но сама кодификация уже относится к эпохе упрочения словацкого национализма [33. S. 160], к первой фазе национально-возрожденческого

⁵ Ср.: "s ohl'adom na jazykovú analógiu možno vyvodzovat' " [15. S. 69]; "s ohl'adom na jazykovú analógiu a na zásady zdravého rozuma a pravopisu" [15. S. 85].

процесса, кульминация которого наступает в 40-х годах XIX в., и ярко проявляется в "будительских" усилиях штуровского поколения [ср.: [22. С. 109, 157]].

Бернолак и его сторонники пришли к пониманию качественно нового положения национального литературного языка в гражданском постфеодальном обществе. В нем в отличие от прежней сословной общественно-политической структуры (словацкий) литературный язык становится существенным компонентом формирующейся современной (словацкой) нации. Этот качественный сдвиг в понимании литературного языка заметен при сравнении позиций представителей двух направлений культурного развития – М. Бела и А. Бернолака. У Бела – представителя концепции чешско-словацкого языкового единства (признавалось этническое различие словаков и чехов, словацкий и чешский языки считались отдельными диалектами славянского языка, но в качестве литературного языка для словаков принимался чешский литературный язык) – просветительское понимание языка базировалось на соотношении: обработанный литературный язык (чешский) – неотшлифованные народные говоры (словацкие). Однако Бернолак, как это видно, например, в стилистической интерпретации словарного состава в "Словаре", остается в рамках словацкого национального языка, сопоставляя литературный словацкий лексический элемент и простонародный (т.е. диалектный, нелитературный). Литературный язык становится в бернолаковской кодификации активным фактором в развитии тогдашней национальной идеологии.

Бернолак кодифицирует литературный словацкий язык как общенациональный (в понимании, соответствующем первой фазе национального возрождения). Его кодификация имеет два характерных признака: она охватывает правописание, фонетику, грамматику и лексику; речь идет о таком широком диапазоне кодификации, какого до сих пор никто не смог повторить и тем более превзойти. При разработке кодификации Бернолак одновременно установил и норму литературного языка. Как и К. Гутшмидт [34], мы полагаем, что это была прескриптивная кодификация. Одной из ее слабых сторон было то, что она не стала общесловацкой (ее не приняла, прежде всего, евангелическая часть словацкого общества). Следует, однако, напомнить, что бернолаковщина (на которую позже Юрай Палкович перевел Библию) стала одним из четырех официальных языков в Венгрии (*quadruplex lingua – štvorý jazyk* [3. S. 266]). Благодаря кодификации Бернолака словацкий язык занял в славистике свое место как отдельный славянский литературный язык. Бернолаковскую кодификацию отвергал Й. Добровский, но горячо защищал, например, молодой словенский языковед В. Копитар [35]. Примечательно, однако, что позднее, при классификации славянских языков во втором издании "*Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache*" (1819) и в "*Institutiones linguae slavicae dialecti veteris*" (1822) Добровский уже учитывает и словацкий язык. Бернолаковский литературный язык принимают во внимание в своих словарях Й. Добровский, С.Б. Линде и Й. Юнгман.

Прескриптивная кодификация литературного словацкого языка Бернолака стала первой в цепи словацких литературных норм и кодификаций. В этом состоит его непреходящая историческая заслуга. Новаторские труды Бернолака находят диалектическое продолжение у штуровского поколения. Стремление утвердить норму общенационального словацкого литературного языка является выражением новой национальной идеологии и представляет собой основной идейно-методологический принцип Бернолака.

III.2. Основные источники прескриптивной кодификации Бернолака.

Бернолак стремился разработать и описать такую орфографическую и грамматическую норму общенационального литературного языка, которая отражала бы реальное языковое состояние. Это состояние олицетворял для него культурный узус западнословацких интеллигентов, который в наименьшей мере был подвержен влиянию чешского языка и языков соседних этносов (ср.: [15; 5]). Опираясь на позицию М. Бела, Бернолак отмечает, что "нормой следует считать не столько произношение люда, сколько произношение интеллигентов и ученых, меньше всего ратующих за богемизмы" (см.: [30. S. 8]). В этих словах дает себя знать образованный

человек эпохи просвещения. Бернолак ищет критерий установления литературной нормы и ее кодификации в произношении интеллигентов и писателей, прежде всего трнавского, братиславского и скалицкого культурных центров. Он считает, что и правописание должно создаваться на основе произношения. Бернолак требует, "чтобы правила правописания и печати (для паннонских словakov) выводились из произношения (паннонских словakov)" [25]. Поэтом он требует в сочетании с род. падежом (лат. *de, e, ex*) и с твор. падежом (лат. *cum, con*) писать предлог *z*. Перед словами, начинающимися на глухой согласный, он рекомендует писать *s* (*s pána, s pánom*), а также – в соответствии с произношением: *s nami, s vami* (см.: [15. S. 99, 293]). За время учебы в Генеральной семинарии Бернолак имел возможность познакомиться с узусом культурного западнословацкого языка, который не был узко-локальным, а содержал также среднесловацкие языковые элементы. Можно предположить (см.: [12]), что это был западнословацко-среднесловацкий контактный вариант культурного словацкого языка, который (с некоторыми типичными фонетическими и лексическими среднесловакизмами) Бернолак обработал в своих грамматических трудах. Позднее, как об этом свидетельствует его "Словарь" [9], Бернолак отдал предпочтение – вероятно под влиянием узуса трнавских печатных книг – более гомогенному культурному западнословацкому языку (ср.: [5; 12]).

Хотя в соответствии с просветительским мышлением Бернолак выдвигает на передний план узус интеллигентов западнословацких культурных центров, в своих трудах, и прежде всего, в лексикографической кодификации, он выходит за эти рамки, черпая из сокровищниц народной речи. Родное оравское село, учеба и работа в разных местах Словакии давали возможность Бернолаку осознать богатство словацких диалектов. В фонетической и морфологической частях "Словацкой грамматики" нашли отражение не только западнословацкие, но и среднесловацкие диалектные черты. Иное отношение в "Словаре" наблюдается к элементам "горняцкой" ("hoŕňáckeĵ") речи⁶. С одной стороны, среднесловацкие фонетические и грамматические явления редуцируются, с другой – широко используется диалектная (или в широком смысле народная, разговорная) лексика, выстраиваются синонимические ряды слов (иногда синонимы оцениваются как стилистически равноценные, например, *krumple*, син. *swabka, zemák, podzemné jablko, swábská repa*), приводятся устойчивые сочетания и широко употребительные фразеологические обороты. О богатстве народного словаря косвенным образом свидетельствуют и лексические элементы, при которых имеется стилистическая помета литературного субстандарта ("vulg."). Что касается других пластов диалектной лексики, то в "Словаре" представлена небольшая группа слов трнавско-братиславско-скалицкого района (напр., *krepelica, kuropatva, ghez, bečat'*) и некоторые лексемы, характерные для более широкой юго-западной, resp. юго-среднесловацкой диалектной области (напр., *šivačka, góla, klepáč*) (подробнее см.: [5. S. 229 и сл.]). Более многочисленными являются группы слов из западнословацких и среднесловацких диалектов (напр., *gačmeň, piwonka, gelša, gazwec, načim, oprata, kačica*). Для "Словаря" характерны также фонетические и лексические оравизмы, например: *Antoň, cebula, natrefit', hltañ, t'esto, resca, bahňatka, gafira, polka, kowál, goralka, briga, rala* и др. Из народного языка в "Словарь" вошла фразеология, а также пословицы и поговорки.

Одним из источников бернолаковской кодификации являлся чешский язык, который употреблялся в Словакии в некоторых функциях литературного языка. Хотя Бернолак устанавливал литературную форму на фоне чешской литературной нормы, но в отличие от нее, он проявлял при этом взвешенный подход. В кодифицируемый им литературный словацкий язык (а позднее и в "Словарь") Бернолак включил чешские по происхождению языковые элементы, уже освоенные культурным словацким языком (напр., *kd'iž, aneb(o), neb(o), který, l'itowat', milugicí*) и лексические

⁶ Имеется в виду крестьянская речь жителей северной Словакии (прим. перев.).

элементы, которые не были ему известны из народной речи (напр., *machunka*, *kocmúdek*, *garáb*, см.: [5]).

III.3. Рабочие приемы и методические аспекты.

Широкий диапазон нормативных работ, значительную часть которых Бернолак написал будучи молодым, трудно себе представить без помощи коллег. Результатом коллективного сотрудничества – правда, под руководством Бернолака – являются прежде всего сочинения, касающиеся кодификации правописания. О работе "Dissertatio" [25] и присоединенной к ней "Orthographia" [30] Бернолак замечает, что труд был "подписан именами местных филологов, поскольку был составлен лишь после долгих дискуссий с учеными мужами и после их одобрения" [15. S. 131]. Увлеченных помощников и сотрудников молодой Бернолак нашел среди теологов в братиславской Генеральной семинарии. Известно, например, что при написании "Dissertatio" ему помогал Антон Кубица (см.: [36. S. 101–123; 37. S. 11–31]).

В своих нормативных трудах Бернолак реализует синхронный подход. Однако иногда встречаются и исторические экскурсы, в частности во вводных частях "Dissertatio" и во введении к "Словацкой грамматике". Исторический метод, однако, используется в качестве вспомогательного [2. S. 14]. В рабочих приемах Бернолака также отразилась эпоха. Его исторические объяснения (взятые иногда из вторых рук) показывают, что в то время историческое языкознание не стало еще строгой наукой. В связи с этой стороной лингвистических работ Бернолака Я. Станислав говорит о методе "угасающего прошлого", свидетельствующем о том, что молодой исследователь не освоил еще зарождающуюся методику критической историографии [2. S. 15–16]. В целом "Словацкая грамматика" имеет характер синхронного описания, которое по своей концепции отвечает уровню славянских грамматик второй половины XVIII в. "Словарь" является толково-переводным словарем, который, выполняя культурно-общественную функцию, характерную для идеологии эпохи просвещения, вместе с тем представляет собой широко понимаемое лексикографическое описание впервые кодифицированного словацкого общенационального литературного языка.

Объясняя то или иное явление, Бернолак указывает на его функцию и целевое назначение. Так, доказывая необходимость сохранения в словацком правописании согласных *l* и *l'*, Бернолак исходит из того, что эти согласные придают одинаково звучащим словам разное значение, напр., *tela* – *t'el'a*, *žili* – *žil'i* [25. S. 70]. Он вполне обоснованно отмечает, что *ch* "является двойным только если иметь в виду форму (две графемы), а не значение, поскольку этот звук соответствует одному греческому *x* ("xu") [25. S. 72; 15. S. 77].

В "Словаре" ярко проявляется критерий системности, которую мы усматриваем, с одной стороны, во включении словообразовательно мотивированных слов, а с другой – в использовании синонимов при парафразе значения заглавного слова. Как указал Ю. Долник, Бернолак описал в "Словаре" не только языковую компетенцию просвещенного интеллигента из западнословацкого региона, но и его коммуникативную компетенцию. Поэтому в "Словарь" вошли слова и фразеологические обороты из народной речи, а границы литературной лексики расширяются в направлении обиходно-разговорного языка [10]. В связи с кодификацией лексических вариантов некоторые исследователи справедливо указывают на синхронную динамику словарного состава формирующегося литературного словацкого языка [38].

Для работ Бернолака характерны элементы сравнительного метода. Во всех лингвистических трудах он исходит из состояния в "паннонском словацком языке", однако некоторые явления рассматривает на фоне чешского языка, гесп. в соотношении с ним; частые сравнения он делает с латинским, немецким и венгерским языками. Обратим внимание, например, на следующие положения: "Словаки не имеют депонентных глаголов, а пассивные глаголы описываются при помощи причастия прошедшего времени и вспомогательных глаголов" [15. S. 202]; "Оптатива и конъюнктива с особым окончанием словаки не имеют" [15. S. 207]. Иногда прямо указывается на

сходство или различие между словацким и латинским языком: "В единственном числе глаголов прошедшего времени в словацком языке, подобно латинскому, представлено три рода: мужской, средний и женский" [15. S. 207]. В главе "Орфоэпия" "Словацкой грамматики" Бернолак раскрывает произношение некоторых звуков при помощи сравнения их с латинскими, греческими, французскими и особенно венгерскими звуками. Ср. следующие контексты: (если гласные отмечены "острым ударением"), они произносятся "долгими, как в венгерском языке"; "...-t' произносится как венгерское *ty* в слове *attya*" [15. S. 139]. Более широко Бернолак использует сравнительный метод при формулировании орфографических правил. Наряду с новочешским и древнегреческим языками он указывает на ситуацию в латинском, греческом и еврейском языках (см. также: [2. S. 17]).

В толково-переводном "Словаре" сравнение с латинским, немецким и венгерским языками является основным элементом методического подхода к описанию лексического значения или синтаксической функции заглавного слова. Латинские, немецкие и венгерские эквиваленты и параллельные переводы богато иллюстрируются словосочетаниями, фразеологическими оборотами и пословицами. При членении смысловой структуры многозначных слов Бернолак нередко пользуется лексико-семантической системой латинского, немецкого и венгерского языков, т.е. приводит переводные значения заглавного слова, что делает его полезным для тех, кто изучает эти языки. На последнее обстоятельство указывает Ю. Долник [10. S. 106–109].

Несколько иная ситуация наблюдается в тех случаях, когда в трудах Бернолака отмечаются различия и сходства с чешским языком. Главный методологический подход при начальном нормировании и кодифицировании общенационального литературного языка заключался в разграничении словацких и чешских языковых явлений (в тех исторических условиях, о которых говорилось выше). В сочинениях Бернолака на передний план часто выступают элементы, типичные для словацкого языка. А как обстоят дела в "Словаре"? В названии "Словаря" чешский перечисляется в ряду языков, с которыми сравнивается исходный словацкий материал, однако в иллюстративной части словарной статьи чешские эквиваленты и параллельные чешские переводы не приводятся последовательно наряду с латинскими, немецкими и венгерскими. Чешские лексические элементы используются Бернолаком, с одной стороны, как отсылочные слова, а с другой – как соответствия внутри словарной статьи: например: *škorec, boh. špaček; stádo, boh. skot*. Иногда он фиксирует смысловые различия одинаково звучащих слов, например, *wedro, boh. v. horúčost; kapusta, boh. zelí* (подробнее об этом см.: [5. S. 240, 244]). Однако чешский лексический материал не представлен в "Словаре" исчерпывающим образом. В нем недостаточно последовательно фиксируются словацко-чешские лексические расхождения. Таким образом, есть различие между последовательным использованием латинских, немецких и венгерских эквивалентов, с одной стороны, и чешского материала – с другой. Следует все же заметить, что сопоставление с чешским языком является фоном всего лингвистического наследия Бернолака. Наряду с эксплицитным сопоставлением здесь можно говорить об имплицитном (внутреннем) сопоставлении. В понятие имплицитного сопоставления можно было бы включить и упомянутое выше членение смысловой структуры многозначных слов в соответствии с латинскими, немецкими и венгерскими переводными значениями. С подобной точки зрения включение чешского языка в название "Словаря" ("Slovár slovenský, česko-latínsko-nemecko-uherský) является обоснованным.

III. 4. Отношение к иностранной специальной литературе.

Вопросом об использовании Бернолаком имевшей тогда специальной литературы особенно основательно занимались Я. Станислав [2] и К. Габовштякова [5]. И в этом отношении Бернолак выступает как дитя переломной эпохи. Наряду с научно точным цитированием использованной литературы, во многих местах его трудов встречаются буквальные заимствования формулировок и примеров. По мнению Я. Станислава [2. S. 14–15], Бернолак является "духовным учеником прежде всего В.Ф. Дуриха и П. Долежала; у них он учился и на них по большей части опирался".

Считается, что "Орфография" в основном переписана с Долежала [39] и с книги "Prjwod ku dobrořisečnosti" ("Пособие по орфографии") (1780).

После публикации исследований Г. Кайперта вопрос об использовании Бернолаком иностранной научной литературы предстает в новом свете (см.: [16; 17]). Г. Кайперт, опираясь на широкую славистическую базу, анализирует последствия в языковом плане, терезианской реформы школы у славян. Терезианская реформа требовала, чтобы изучение немецкого языка начиналось тогда, когда молодежь уже хорошо читала на своем родном языке и настолько знала его грамматические правила, что могла бы использовать в процессе учебы различия между немецким языком и соответствующим родным языком. Для венгерской части монархии Фр.А. Шлэгель разработал латинский вариант венского образцового учебного пособия "Verbesserte Anleitung", до 1779 г. – "Wiener Anleitung" (см.: [18]). Основным источником "Словацкой грамматики" (1790) и "Орфографии" (1787) Бернолака был этот латинский текст грамматики немецкого языка [17]. Благодаря этому (в упомянутых трудах в подзаголовке отмечается, что они были "(полностью) приспособлены к системе народных школ, введенной в императорско-королевских землях"), было выполнено требование изучать сначала родной – словацкий – язык, а потом немецкий – по учебникам, разработанным на основе одинаковых методико-педагогических принципов. К сфере влияния указанного немецкого пособия из числа словацких учебников относится также "Prjwod ku dobrořisečnosti" (1780) ("Пособие по орфографии"). Специфика сочинений Бернолака состояла в том, что они могли рассматриваться одновременно и как школьные учебники, и как научные труды. Вне сферы влияния "Wiener Anleitung" были труд Бернолака "Etymologia vocum slavicarum" [40] ("устанавливающая способ размножения слов посредством деривации и сложения"), его "Словарь" [9] и "Dissertatio" [25]. Последний общим характером толкований и особой авторской аргументацией с многочисленными ссылками на научную литературу заметно отличается от "Словацкой грамматики".

Следы влияния грамматики Шлэгеля находим во всех пяти частях "Словацкой грамматики": I. De orthoepia, II. De etymologia, III. De syntaxi, IV. De prosodia, V. De orthographia. В учебнике Шлэгеля пять аналогичных частей расположены в следующем порядке: I. Orthoepia, II. Prosodia, III. Orthographia, IV. De etymologia, V. De syntaxi (S. 3–253); далее, на S. 253–321, приводятся немецко-латинские тексты из сочинений Я.А. Коменского "Orbis pictus", которые у Бернолака не представлены. С другой стороны, после раздела V. De orthographia Бернолак поместил раздел "Adagia slavica", содержащий словацкие поговорки с латинскими параллелями (см.: [15. S. 408–424]). Кроме того, в приложении он добавил список латинско-словацких терминов из области языкознания и литературоведения, список пословиц из грамматики и словацкий предметный словарь различных номенклатур с латинскими, венгерскими и немецкими эквивалентами. "Орфография" [30] была опубликована вместе с "Dissertatio" еще в 1787 г., но была включена и в "Словацкую грамматику" как ее последняя часть. Эти две публикации имеют много общего, но не вполне тождественны. Они различаются некоторыми словацко-латинскими примерами, иногда также самими объяснениями и членением материала. В них заметно также влияние грамматики Шлэгеля.

Грамматика Шлэгеля 1786 г. стала основным, хотя и анонимным, методологическим источником "Словацкой грамматики" и "Орфографии". Она оказала влияние на названные труды Бернолака в общем распределении обрабатываемого материала, в общих дефинициях ключевых слов и в способе толкований при описании явлений не структурного, классификационного характера; ср., например, семантическую классификацию наречий, характеристику пунктуационных и разделительных знаков, синтаксис союзов. Последовательно по Шлэгелю разработан и порядок слов в простом и сложном предложении (разумеется, на словацком материале). Все же следует подчеркнуть, что бернолаковская "Грамматика" представляла собой описание грамматического и фонетического строя словацкого лите-

ратурного языка со своей системой склонения, спряжения и фонетико-фонологических принципов правописания; во многих местах "Словацкой грамматики" отмечается специфическое состояние в "паннонском словацком языке", "у паннонских словаков" (например, употребление притяжательного местоимения *svoj, svoja, svoje*). Частью указания на различия или сходства с латинским или немецким⁷ языками относятся к элементам сравнительного метода Бернолака (см. об этом в разделе III. 3).

Резюме.

Как мы видели, переломный исторический период отражается не только в исходной идейной позиции А. Бернолака. В методике его лингвистических трудов также сочетаются традиционное лингвистическое мышление и заимствованные традиционные сведения, с одной стороны, и элементы методологии, которые были впоследствии разработаны в европейском языкознании, с другой. Новым в творчестве обладавшего филологическим талантом богослова был просветительский рационализм, а с точки зрения лингвистического метода – имплицитный и эксплицитный сравнительный аспект. Через все лингвистические труды Бернолака красной нитью проходит стремление постичь и описать культурный узор "паннонского словацкого языка" в соотношении с чешским языком и в отличие от него (при этом учитывается также положение в латинском, немецком и венгерском языках), правда, в нелегкой ситуации, когда нужно было создавать кодификацию литературного языка для всей формирующейся современной словацкой нации. При этом и прескриптивная кодификация, и процесс национального самосознания словаков находились на начальной стадии. Эти факты необходимо учитывать при любой оценке лингвистических трудов Бернолака конца XVIII в., resp. рубежа XVIII и XIX в.

Принципиальное идейно-методологическое значение имеет нормативная кодификация, базирующаяся на западнословацком узусе образованных людей (который формировался и стабилизировался с XVI в.). Пожалуй, при этом следует учесть его западнословацко-среднесловацкий контактный вариант. Труды Бернолака образуют первое звено в цепи норм и кодификаций литературного словацкого языка. Он остается непревзойденным по широте охвата своей прескриптивной кодификацией. Творческое наследие Бернолака имело и имеет историческое общественно-культурное значение.

В научно-теоретическом и доказательном плане наиболее продуманным является бернолаковский проект словацкого правописания ("Орфография"), логически обоснованный в "Dissertatio". Системное решение проблем словацкого правописания было оригинальным и основывалось на более широкой позиции. Если пользоваться современной терминологией, то можно сказать, что при освещении отношения графемы и фонемы Бернолак применял фонологический подход. Написание в соответствии с произношением и устранение нефункциональных графем свидетельствует о тонком лингвистическом чутье автора, а ряд конкретных исправлений (например, устранение графемы *y*) до настоящего времени не утрачивают своей привлекательности.

"Словацкая грамматика" носила характер школьного учебника, написанного на уровне лингвистических теорий того времени. В ней Бернолак не проявил себя как лингвист-новатор (от молодого теолога, который три года изучал языкознание, этого вряд ли можно было ожидать). Он опирался на уже выработанные принципы систематического описания, на общие дефиниции основных терминов и традиционное членение грамматических явлений, что соответствовало общим методическим

⁷ Отстаиванием принципа, по которому одному звуку должна соответствовать одна буква, Бернолак опередил многих исследователей своего времени, а в некотором отношении и латинский образцовый учебник немецкого языка. Справедливо отвергая обозначение долгих гласных (которые от простых гласных отличаются лишь тем, что произносятся "более сильным, т.е. более долгим тоном") как "скрытых дифтонгов" [25. S. 63], Бернолак, правда, ссылается на общее определение Шлёгелем дифтонга, но именно Шлёгель среди "собственно двойных вокалов" приводит наряду с *ai, ei, ui* также *au, eu, iu*, следовательно сочетания, которые различаются только графемой *i/u*, так что в данном случае речь не идет об особых дифтонгах.

требованиям, предъявленным к школьным языковым учебникам (немецкого языка), используемым в австрийской монархии. Следует, однако, отметить, что в рамках учебного пособия Бернолак предложил всестороннее описание прескриптивной кодификации словацкого языка. Во многих местах "Словацкой грамматики" он указывает на отличие словацкого языка от чешского, например, отмечает дистриктивную функцию звука *l'* по отношению к *l*, подчеркивает специфику словацкого языка в использовании местоимений *swôg, swoga, swoge (gá gem chl'éh swôg* вместо ...*tôg)* и т.п. Кроме того, Бернолак отмечает некоторые особенности словацкого управления. Хотя порядок слов в словацком предложении он излагал по чужому образцу (ср.: [18. S. 248–253]), при описании порядка слов в простом и в придаточном предложении он учитывал узус словацкой разговорной речи. Но самое важное заключается в том, что при описании всей морфологической парадигматики Бернолак заметно приблизился к живой речи (о влиянии чешской культурной традиции см.: [5; 7]). Заслуживает особого признания детальная лексикографическая обработка словарного состава литературного языка, превзойти которую удалось лишь академическому словарю словацкого языка ("Slovník slovenského jazyka. T. I–VI. Bratislava, 1959–1968). Высокой оценки заслуживает динамический диапазон разрабатываемой в "Словаре" Бернолака лексики и акцент на фразеологию как характерный элемент своеобразия каждого языка. Основываясь на английской просветительской философии (Дж. Локк), Бернолак признал право лексикографа развивать словарный состав литературного языка, исходя прежде всего из исконно словацких фондов. При этом он, однако, некритически опирался на образцовые грамматики того времени (П. Долежала, В.Й. Росы, Ф. Томсы – см.: [5. S. 206–221]), а при образовании новых слов выходил за рамки продуктивных словообразовательных моделей.

Что касается оригинальности "Словацкой грамматики", то Г. Кайперт нашел ее главный "анонимный" официальный источник, благодаря чему в подзаголовке грамматики говорилось, что труд был "(полностью) приспособлен к системе народных школ, введенной в императорско-королевских землях". Сказанное в подзаголовке относится приблизительно к трем пятым "Словацкой грамматики". В связи с этим перед словацким языковедом стоит задача установления, путем дальнейшего детального сравнения частей, испытавших на себе влияние (заимствование, парафразирование, использование примеров и т.п.) "Немецкой грамматики" Шлэгеля и упомянутого венского пособия и частей грамматики, в которых это влияние не ощущается. Сказанное выше не умаляет значения исторического кодификаторского акта А. Бернолака для истории словацкого литературного языка.

© 2000 г. Перевод со словацкого Л.Н. Смирнова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bartek H.* Anton Bernolák. 1787–1937. Trnava, 1937.
2. *Stanislav J.* K jazykovednému dielu A. Bernoláka. Bratislava, 1941.
3. *Kotulič I.* Bernolákovská spisovná slovenčina a kultúrna západná slovenčina // Kultúra slova. 1987. № 21. S. 265–271.
4. *Kotulič I.* Bernolákovčina a predbernolákovská kultúrna slovenčina // Pamätnica Antona Bernoláka / Zost. J. Chovan [a M. Majtán]. Martin, 1992 (далее – Pamätnica...). S. 79–90; K počiatkom slovenského národného obrodzenia. Zborník štúdií historického ústavu SAV pri príležitosti 200-ročného jubilea narodenia Antona Bernoláka / Red. J. Tibenský. Bratislava, 1964.
5. *Habovštiaková K.* Bernolákovo jazykovedné dielo. Bratislava, 1968. S. 32; 80; 229; 240. *Habovštiaková K.* Bernolákovo jazykovedné dielo v kontexte slovenskej jazykovedy // Život a dielo Antona Bernoláka / Zost. A. Mat'ovčík (далее Život...). Bratislava, 1997. S. 83–100.
6. *Považan J.* Bernolák a bernolákovci. Martin, 1990.
7. *Život a dielo Antona Bernoláka / Zost. A. Mat'ovčík.* Bratislava, 1997.
8. *Horváth P.* Anton Bernolák (1762–1813). Pôvod a osudy jeho rodiny // Život...

9. *Bernolák A.* Slowár Slowenský. Česko-latínsko-Ňemecko-Uherský. T. I–VI. Budae, 1825–1827.
10. *Dolník J.* Bernolákov Slovár ako kodifikačné dielo // Pamätnica..., S. 104–109.
11. *Blanár V.* Opis slovnej zásoby v Bernolákovom Slovári // Pamätnica..., S. 110–117; *Blanár V.* Slovenčina v Dobrovského klasifikácii slovanských jazykov // *Slavia*. 1954. № 23. S. 152–158; *Blanár V.* Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte // *Slavica Slovaca*. 1993. № 28. S. 4–14; *Cicaj V.* Ideovopolitické zakotvenie jozefinizmu // Pamätnica..., S. 51–57.
12. *Krajčovič R.* Bernolákovská pravopisná kodifikácia ako vedecký fakt // Pamätnica..., S. 68–73.
13. *Tibenský J.* K problémom hodnotenia bernolákovčiny a bernolákovského hnutia // *Historické časopis*. 1959. № 7. S. 555–576.
14. *Vyvíjalová M.* Bernolákovci v kontexe európskeho osvietenstva // Pamätnica..., S. 22–42; *Sedlák I.* Nova Bibliotheca Theologica Selecta Antona Bernoláka v Matice slovenskej // Pamätnica..., S. 216–217.
15. Gramatické dielo Antona Bernoláka. Na vydanie pripravil a preložil J. Pavelek. Bratislava, 1964.
16. *Keipert H.* Die "Wiener Anleitung in der slavischen Grammatikographie des ausgehenden 18. Jahrhunderts // *Zeitschrift für slavische Philologie*. 51. 1. 1991. S. 23–59.
17. *Keipert H.* Anton Bernoláks kodifikation des Slovakischen im Lichte der thesesianischen Schulschriften // *Slavistische Studien zum 11. internationalen Slavistenkongress in Pressburg* // Bratislava. Hrsg. K. Gutschmidt, H. Keipert, H. Rothe. Köln-Weimar-Wien, 1993. S. 233–246.
18. *Schlögel Fr.A.* Grammatica germanica cum lingue germanicae Institutione emendata in usum Ditionum Caes. Regiarum praescripta congruens. Variis regulis, adnotationibus atque exemplis aucta. Graecii, Litteris de Widmanstad, 1786.
19. *Tibenský J.* Historická podmienenosť a spoločenská bazá vzniku bernolákovského hnutia // K počiatkom slovenského národného obrodzenia. Bratislava, 1964. S. 55–96.
20. *Смирнов Л.Н.* У истоков словацкого литературного языка (Обзор новейшей литературы о языковой деятельности А. Бернолака) // *Краткие сообщения Института славяноведения*. Вып. 43. История славянских литературных языков. М., 1965. С. 85–94.
21. *Смирнов Л.Н.* О роли Антона Бернолака в истории словацкого литературного языка // *Вопросы языкознания*. 1969. № 6. С. 103–113.
22. *Смирнов Л.Н.* Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения (1780–1848) // *Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков*. М., 1978. С. 86–157.
23. *Смирнов Л.Н.* Отражение в литературно-языковой сфере борьбы за консолидацию словацкой нации (середина XIX в.) // *Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе*. М., 1981. С. 197–211.
24. *Rapant D.* O snahách poslovenčit' "Prešpurské Noviny" // *Průdy*. 1924. № 8. S. 38–44, 97–105.
25. *Bernolák A.* Dissertatio Philologico-Critica de Litteris Slavorum. Posonii, 1787.
26. *Tibenský J.* R starším i novším názorom na A. Bernoláka, bernolákovské hnutie a slovenské národné obrodzenie // *Historický časopis*. 1966. № 14. S. 329–361.
27. *Gajdoš V.J.*, *Knižná pozostalosť Antona Bernoláka* // *Duchovný pastier*. 1962. T. 37. Č 10. S. 198–200.
28. *Chovan J.* Bernolákov predhovor a jeho ideovo-politický kontext // Pamätnica..., S. 160–165.
29. *Tibenský J.* Predstavy o Slovanstve na Slovensku v 17. a 18. sroročí // *Historický časopis*. 1960. № 8. S. 198–224.
30. *Bernolák A.* Linguae Slavonica. Orthographia. Posonii, 1787.
31. *Bernolák A.* Grammatica slavica. Posonii, 1790.
32. *Blanár V.* Vetné pričlenenie // *Jazykovedné štúdiá*. Spisovný jazyk. I. / Red. J. Ružička. Bratislava, 1956. S. 179–212.
33. *Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava, 1983.
34. *Gutschmidt K.* Probleme der Periodisierung der Geschichte slawischer Schriftsprachen // *Zeitschrift für Slawistik*. 1988. № 33. S. 321–327.
35. *Lacziok M.* Kopitar a slovenčina. (Z dejín slovensko-slovinských vzťahov) // *Literárne vzťahy Slovákov a južných Slovanov*. Zborník z vedeckej konferencie v Smoleniciach od 30.10 do 1.11.1966 / Red. Z.Klátik. Bratislava, 1968. S. 138–145; *Locke J.* Essay Concerning Human Understanding by John Locke. 1690.

36. *Baník A.A.* Pomocníci Antona Bernoláka v rokoch 1786–1790 pri diele slovenského národného obrodzenia // *Život...*, S. 101–123.
37. *Drozd Š.* Anton Kubica – Bernolákov pomocník pri Dissertácii // *Literárny archív*. 1969. S. 11–31.
38. *Mlacek J.* Slovenská frazeológia v Bernolákovom diele // *Studia Academica Slovaca*. 16 / Red. J. Mistrik. Bratislava, 1987. S.67–83 // *Pamätnica...*
39. *Doležal P.* *Grammatica Slavico-Bohemica*. Posonii, 1746.
40. *Bernolák A.* *Etymologia vocum Slavicarum*. Tynaviae, 1791.



© 2000 г. Г.И. ШАТУНОВСКИЙ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В БОЛГАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

1.1. Проблема выражения неопределенности – одна из важных и актуальных в болгарском и русском языкознании. В русском языке нет специальных грамматических средств для выражения определенности и неопределенности, в то время как в болгарском специальные грамматические средства для подобного выражения существуют. Для обозначения определенности объекта в болгарском языке есть специальный маркер – постпозитивный определенный артикль. Неопределенность же выражается отсутствием этого маркера, так называемой нулевой морфемой¹. Нулевая морфема в болгарском языке, однако, не покрывает весь спектр значений неопределенности. Дополнительные оттенки в значении неопределенности вносят в болгарском языке, как и в русском, неопределенные местоимения. Данная статья посвящена рассмотрению значения и употреблений неопределенных лексем *един, някакъв, някой* в болгарском языке в сравнении со значениями и употреблениями соответствующих местоимений (*один, какой-то, какой-нибудь*) (о местоимении *какой-то* см.: [4]; о неопределенных частицах см.: [5]) в русском языке.

1.2. В ситуации употребления (в значении) неопределенных местоимений (НМ) можно выделить три инвариантные черты: (1) объект, обозначаемый НМ, является единичным; (2) данный объект входит в множество объектов того же рода; (3) данный единичный объект является неопределенным (= объект не выделен из множества, = не идентифицирован с каким-то одним определенным объектом этого множества). (1) и (2) являются пресуппозициями и одинаковы для всех НМ; (3) является собственно значением НМ. Значение неопределенности (неопределенная референция) делится на следующие разновидности: неконкретную неопределенность и конкретную неопределенность, которая, в свою очередь, делится на сильную и слабую неопределенность (см.: [6]). Под неконкретной неопределенностью понимается невозможность выбора (выделения) объекта из ряда объектов одного рода (множества). Объект реально не выбран, т.е. не выбран единичный объект из ряда объектов, относящихся к множеству (классу, роду), обозначенному именной группой (ИГ). В русском языке такое значение можно передать с помощью *-нибудь*-местоимений: *Джон хочет жениться*

Шатуновский Глеб Ильич – аспирант Института славяноведения РАН.

¹ Некоторыми авторами в качестве неопределенного артикля рассматривалось также неопределенное местоимение *един*. Согласно [1; 2], данное местоимение выражает в основном значение конкретной неопределенности, в то время как форма без этого маркера – неконкретной. Кр. Кабакчиев [3], критикуя данное заявление, писал, что это правило действует не для всех случаев употребления лексемы *един*.

на (какой-нибудь) иностранке; Нужно подарить ему (какой-нибудь) подарок и др. Говорящий не может идентифицировать объект высказывания, поскольку данный объект еще не выбран самим агентом ситуации, описываемой высказыванием, – *Джоном, мной* и т.д. При конкретной неопределенности объект, входящий в множество, обозначенное именем (ИГ), реально выделен из ряда объектов одного рода. В значении конкретной неопределенности ИГ обозначает единичный объект, однако говорящий не идентифицирует его, т.е. не указывает, какой именно объект данного класса имеется в виду. Как и любое действие, идентификация производится при условии, что субъект действия может и хочет совершить его. Соответственно, говорящий не идентифицирует объект или (а) потому что не может, или (б) потому что (по каким-то причинам) не хочет это сделать. Слабая определенность – *один* – может, но не хочет, сильная неопределенность – *какой-то* – хочет, но не может. Примеры слабой неопределенности: – *...Ты куда теперь едешь?* – *А я к человечку к одному* (Гоголь); *Есть у меня один знакомый, так он...* и др. Примеры сильной неопределенности: *Джон хочет жениться на какой-то иностранке; Я открыл дверь и увидел какого-то человека* и др.

Помимо конкретной и неконкретной неопределенности хотелось бы отметить универсальную неопределенность: при универсальной неопределенности объект имеет референцию к любому члену класса: *Скорпион похож на кузнечика; Дуб относится к классу деревьев* и др.

НМ могут относиться как к существительному, обозначающему объект, так и к определению, относящемуся к данному существительному. В русском языке с подобным значением способно употребляться НМ *какой-то*. При использовании местоимения *какой-то*, относящегося к определению, имеется в виду, что говорящий знает, что признак объекта нуждается в дополнительной идентификации (конкретизации), но он не в состоянии совершить эту идентификацию. Ср.: *Какое-то необъяснимое чувство охватило его; Какой-то он странный человек* и др.

2.1. Рассмотрим соответствующие местоимения в болгарском языке. В болгарском языке нет местоимения, соответствующего русскому из группы на *-нибудь*, поэтому здесь имеет место весьма любопытное расширение значений неопределенных местоимений. Нас в первую очередь интересуют местоимения *някакъв* (*някой*) и *един*.

Местоимение *някакъв* обладает двумя значениями: как сильной неопределенности (близкое к *какой-то*), так и неконкретной неопределенности (близкое к *какой-нибудь*). Ср. значение сильной неопределенности: *Отворих портата и видях някакъв човек* – ‘Я открыл дверь и увидел какого-то человека’; *Някакво куче бяга из двора* – ‘Какая-то собака бежит по двору’, и др. Ср. значение неконкретной неопределенности: *Трябва да дойдеши при някакъв лекар* – ‘Тебе нужно пойти к какому-нибудь врачу’; *Би трябвало да му купим някакъв подарък* – ‘Надо ему купить какой-нибудь подарок и др. Таким образом, в популярном лингвистическом примере, *Мери иска да се омъжи за някакъв₁ чужденец* = *Мэри хочет выйти замуж за какого-то иностранца*, а *Мери иска да се омъжи за някакъв₂ чужденец* = *Мэри хочет выйти замуж за какого-нибудь иностранца*.

Местоимение *един* в болгарском языке более многозначно, нежели соответствующее ему местоимение *один* в русском. Оно имеет практически весь спектр значений неопределенности. Так, местоимение *един*, употребляясь в составе ИГ, может иметь значения слабой неопределенности: *Имахме в нашата група един врабец, викахме му Пиук* – ‘Был у нас один воробей, мы его звали Пиук’ (Радичков); сильной неопределенности: *Отворих портата и видях един непознат човек* – ‘Я открыл дверь и увидел какого-то незнакомого человека’; неконкретной неопределенности: *Ако ни дадат един булевард да го управляваме, ще го забатачим още на втория ден* – ‘Если нам поручат управлять каким-нибудь бульваром, мы это дело завалим уже на

второй день' (Радичков) и универсальной неопределенности: *Един балон, кога много бѣде надут, се пука – 'Шар, который сильно надут, лопається'* (Радичков).

Таким образом, болг. *Мери иска де се омѣжи за един₁ чужденец* = рус. *Мэри хочет выйти замуж за одного иностранца*; болг. *Мери иска да се омѣжи за един₂ чужденец* = болг. *Мери иска де се омѣжи за някакъв₂ чужденец* = рус. *Мэри хочет выйти замуж за какого-то иностранца*; болг. *Мери иска да се омѣжи за един₃ чужденец* = болг. *Мери иска да се омѣжи за някакъв₁ чужденец* = рус. *Мэри хочет выйти замуж за какого-нибудь иностранца*.

3.1. Во всех описанных выше случаях употребления местоимение *един* относится к объекту, однако, как мы уже отмечали, встречаются случаи употребления *един* в качестве определения к определению объекта, в качестве признака признака. Подобное употребление невозможно для русского местоимения *один*. В русском языке для обозначения признака признака объекта используется либо неопределенное местоимение *какой-то*, либо неопределенное наречие *как-то* (см.: [7; 8]). Ср. следующий пример: *Портиерът... равнодушно, с един ленив глас, съобщава направлението на треновете – 'Швейцар... равнодушным и каким-то ленивым голосом сообщал об отправлении поездов'* (Б.Г. Константинов). Лексема *един* относится здесь не к самому "объекту" – голосу, а к его признаку – 'ленивый'. Чтобы проверить это, уберем прилагательное *ленив*, тогда высказывание становится аграмматичным: **Портиерът равнодушно, с един глас, съобщава направлението на треновете*. Данное предложение невозможно перевести на русский, используя НМ *один*. Ср. аграмматичный перевод: **Швейцар равнодушным и одним по-особенному ленивым голосом сообщал об отправлении поездов*. Правильный вариант перевода должен включать НМ *какой-то*: *Швейцар равнодушным и каким-то по-особенному ленивым голосом сообщал об отправлении поездов*.

3.2. Поскольку НМ может указывать как на неопределенность объекта, так и на неопределенность признака, часто возникает проблема интерпретации НМ.

НМ, существительное и прилагательное могут употребляться в высказывании в четырех комбинациях: НМ + существительное, НМ + прилагательное (существительное опущено), НМ + прилагательное + существительное (НМ относится к существительному) и НМ + прилагательное + существительное (НМ относится к прилагательному). Для первых двух случаев проблемы интерпретации НМ нет. Трудности возникают в тех случаях, когда в высказывании присутствуют все три элемента (существительное, его определение и НМ). Попытаемся сформулировать правила интерпретации *един* (*какой-то*) как признака объекта или признака признака.

Если местоимение входит в ИГ, являющуюся предикатной группой, то местоимение относится к прилагательному, поскольку именно прилагательное является в предикатных ИГ коммуникативным, информативным центром высказывания, а существительное выполняет своего рода связочную, строевую функцию. Примеры: *Той е един странен човек – 'Он какой-то странный человек'*; *Излиза исправникът, един висок, дебел, рус и намръщен човек – 'Выходит исправник, высокий, толстый, белокурый и угрюмый человек'* (Бр. Кар.); *Търново изглеждаше като посипано с тебешир – един обезлюден град – Търново было словно посыпано мелом – полностью обезлюдивший город* (Кр. пр.); *Димитров, зная, познавам го. Едно отворено момче, зная го, как не – Димитров, как же, зная. Очень открытый человек, как не знать, зная* (Б.Г.). Во всех приведенных примерах *един* относится к прилагательному, поэтому опущение прилагательного невозможно. Ср. невозможность: **Той е един човек*; **Излиза исправникът, един човек*; **Търново изглеждаше като посипано с тебешир – един град и др.*

В том случае, если *един* не относится к предикатной группе, возможность его употребления в качестве признака объекта, либо признака признака зависит от того,

возможно ли вхождение объекта, обозначенного соответствующим существительным, в ряд аналогичных объектов или нет. Поскольку *един*, как и всякое НМ, предполагает наличие целого ряда аналогичных объектов, оно **относится к имени существительному в том случае, если объект, обозначенный существительным, входит в ряд объектов одного класса**. Ср.: *Един странен човек се обърна към мене на улицата* – ‘На улице ко мне повернулся какой-то странный человек’; *Доклада изнесе един непознат лектор* – ‘Доклад прочитал какой-то неизвестный (мне) лектор’; *Той вчера купи на пазара едни хубави зайци* – ‘Он вчера купил на рынке каких-то красивых зайцев’ и др. Во всех этих примерах опущение прилагательного не ведет к неправильности высказывания. Ср.: *Един човек се обърна към мене на улицата; Доклада изнесе един лектор; Той вчера купи на пазара едни зайци*.

В том случае, если объект не входит в ряд объектов одного класса, НМ относится к прилагательному, поскольку НМ не может относиться к уникальному объекту. Ср.: *Той се усмихна с една загадъчна усмивка* – ‘Он улыбнулся какой-то загадочной улыбкой’; *Бай Ганьо... отрязва си едно деликатно късче, отрязва и един огромен резен хляб и почна да мляска с един чудесен апетит* – ‘Бай Ганю... отрезал себе тоненький кусочек, потом отрезал ломоть хлеба и давай уписывать с отменным аппетитом’ (Б.Г.); *И тя съзна, че отговаря на тоя поглед, без да иска, с цялото си същество, по един необясним начин* – ‘Она осознала, что помимо воли, по какой-то необъяснимой причине, отвечает на этот взгляд’ (Кр. пр.) и др. Абстрактные существительные, как правило, являются в контексте уникальными. Трудно представить себе ряд, состоящий из отдельных улыбок, аппетитов, причин. Таким образом, НМ относится не к самому существительному, а к его определению, опущение которого делает высказывание аграмматичным: **Той се усмихна с една усмивка* – **Он улыбнулся какой-то улыбкой*; **Бай Ганьо... отрязва си едно деликатно късче, отрязва и един огромен резен хляб и почна да мляска с един апетит* – *Бай Ганю... отрезал себе тоненький кусочек, потом отрезал ломоть хлеба и принялся есть с одним аппетитом*; **И тя съзна, че отговаря на тоя поглед, без да иска, с цялото си същество, по един начин* – **И она осознала, что помимо воли, по какой-то причине, отвечает на этот взгляд*.

4. Употребление НМ может быть связано с выражением актуального членения. Как известно, в безартиклевых языках со свободным порядком слов для актуального членения предложения используется главным образом именно порядок слов. Так, начало предложения – то, что дано, тема, конец предложения – то, что сообщается, рема (*Человек вошел в комнату* – *В комнату вошел человек*). В артиклевых языках с фиксированным порядком слов, где этот порядок не может использоваться для актуального членения предложения, вспомогательным средством для него могут служить артикли. Неопределенный артикль обозначает тему высказывания, определенный – рему. Ср.: *A man came into the room* – *The man came into the (a) room*. Болгарский язык относится к артиклевым языкам со свободным порядком слов. Поэтому для актуального членения предложения в нем используются и артикли, и порядок слов. При этом два этих маркера актуального членения предложения могут либо совпадать, либо не совпадать. Они совпадают в том случае, если существительное, стоящее в начале высказывания, является определенным, а существительное, стоящее в конце высказывания, неопределенным. Ср.: *Лекторът изнесе доклад*. Достаточно часто, однако, случается, что существительное, стоящее в начале высказывания, является неопределенным. В этом случае два маркера актуального членения предложения вступают в противоречие друг с другом. Важно, однако, как именно маркирована определенность существительного. В том случае, если существительное употреблено в так называемой нечленной неопределенной форме, предложение становится аграмматичным. Ср.: **Лектор изнесе доклад*. В том случае, если

неопределенность существительного маркирована НМ (главным образом, *един*), предложение остается грамматичным, хотя иногда ощущается его шероховатость. Ср.: *Един (Някакъв) лектор изнесе доклад*. В этом предложении и первая, и вторая его части являются новыми, относятся к реме. Наиболее естественно такое предложение при ответе на вопрос: *Что было на собрании?* (ср.: [9]).

5. В завершение приведем таблицу соотношений значений лексемы *един* в четырех текстах – одном произведении конца XIX в. (А. Константинов. "Бай Ганьо"), в двух произведениях второй половины XX в. (Й. Радичков. "Ние, врабчетата" и Е. Станев. "Крадецът на праскови") и в 200 страницах переводного текста (Достоевски. Бр. Кар. Ч. 1. Прев. Димитър Подвързанов и Симеон Андреев).

Таблица

		"Крадецът на праскови"	"Бай Ганьо"	"Ние, врабчетата"	"Братя Карамазови"
слабая неопр.	всего употребл.	31	97	52	117
	% от общего кол-ва употребл.	63.2%	71.8%	71.2%	68.8%
сильная неопр.	всего употребл.	11	11	2	14
	% от общего кол-ва употребл.	22.5%	8.2%	2.7%	8.2%
конкретная неопр. (слабая + сильная)	всего употребл.	43	108	54	131
	% от общего кол-ва употребл.	85.7%	80%	73.9%	77%
неконкретная неопр.		2	11	2	8
универсальная неопр.		1	4	13	9
в предикатной группе		2	3	4	18
употребляется в качестве хар. признака объекта		2	9	0	4

Приведенные в таблице данные подтверждают выводы, сделанные выше. Лексема *един* в болгарском языке обладает широким спектром значений, хотя основным при этом остается значение конкретной неопределенности.

Принятые сокращения

Б.Г. – Бай Ганьо

Бр.Кар. – Братя Карамазови

Кр.пр. – Крадецът на праскови

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Станков В.* За категорията *неопределеност на имената* в българския език // Българско езикознание. 1984. № 3.
2. *Станков В., Иванова М.* За неопределените именни синтагми, изразяващи специфичност/неспецифичност // Български език. 1989. № 1–3.
3. *Кабакчиев Кр.* Отново за разновидностите на неопределеността в българския език: концептуална неадекватност, терминологична непоследователност и други проблеми // Съпоставително езикознание. 1990. № 6.
4. *Ермакова О.П.* Местоимение *какой-то* // НДВШ (Научные доклады высшей школы). Филол. науки. 1986. № 1. С. 54–58.
5. *Николаева Т.М.* Функции частиц в высказывании. М., 1985.
6. *Падучева Е.В.* Высказывание и его соотносительность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
7. *Арутюнова Н.Д.* Стиль Достоевского в рамке русской картины мира // Поэтика. Стилистика. Язык и культура (памяти Т.Г. Винокур). М., 1996. С. 61–90.
8. *Арутюнова Н.Д.* Безличность и неопределенность // *Арутюнова Н.Д.* Язык и мир человека. М., 1998. С. 793–874.
9. *Шамрай Т.* Членувани и нечленувани имена в българския език. София, 1989.



© 2000 г. А. ЯКЛОВА

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ *СЛЕНГ* В ЧЕШСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Попытки определения понятия *сленг* предпринимаются в чешской лингвистике уже почти 70 лет. Тем не менее и сегодня взгляды отечественных языковедов на сленг расходятся, и авторы употребляют для его обозначения разного типа синонимичные наименования, например, *социальный диалект*, *групповой диалект*, *общественный диалект*, *особый диалект*, *профессиональный язык*, *общественный язык*, *жаргон*, *профессиональный диалект*, *язык общественных сословий*, *"гантырка"*, *социолект* или даже *социальный стиль*.

В определении этимологии и слова *сленг* чешские лингвисты едины: оно заимствовано из английского языка. Первое свидетельство о его употреблении относится, по Ф. Копечному [1. S. 28], к 1758 г. Копечный считает слово *сленг* отглагольным именем к *sling* в значении 'кидать, бросать'. Одновременно он ссылается на Клайн и Скита (см.: [2]), которые считают слово скандинавским по происхождению. Клайн соотносит его с норвежским *slengja kjeften* в значении 'кидать мордой', а Скит характеризует сленг как *cant language* – "язык ханжей и лицемеров". Первоначально он, по всей вероятности, обозначал особый певучий язык нищих.

Й. Губачек в своей работе "*O českých slanzich*" [3] отстаивает мнение, что слово *сленг* впервые появилось в первой половине XVIII в. в Англии и обозначало вульгарный язык. Он предполагает, что оно происходит от английского *s'language* (чей-то язык, например, *soldier's language* 'язык военных'). Такое мнение оспаривает Копечный. Он обращает внимание на то, что в вышеприведенном толковании происхождения слова *сленг* Губачек исходит из современного понимания сленга как языка определенной группы, однако не существует ни одного другого случая, когда слово было бы образовано с помощью суффикса производящего слова и основы производного.

Существуют и другие возможности объяснения происхождения слова *сленг*. Например считают, что оно происходит из языка цыган или из диалектов северной Англии [4. С. 104].

По мнению большинства отечественных (чешских и словацких) лингвистов понятие *сленг* впервые появилось в чешской научной литературе в статье Ф. Оберфальцера-Йилка "*Argot a slangu*", опубликованной в 1934 г. [5]. Й. Неквапил [6], однако, заметил, что в литературе по богемистике первое употребление термина *сленг*, включая его различные толкования, появляется уже в журнале "*Naše řeč*" за 1924 г. в статье В. Эртла [7], ссылающегося на работу датского лингвиста О. Яспер-

сена "Language, Its nature, Development and Origin" (London, 1922). После этой работы Эртла термин *сленг* включается в систему терминов чешской лингвистики.

Следовательно, Ф. Оберфальцер не был первым чешским лингвистом, занимающимся сленгом, тем не менее его статья "*Argot a slangy*" представляет собой конкретное исследование сленга, которое долгое время определяло понимание этого термина в нашей стране. Оберфальцер характеризует сленг следующим образом: "Результат деления национального языка по социальным группам называется сленгом. Под сленгом мы понимаем социальную дифференцированность разговорного языка [5. S. 311]. Для Оберфальцера, следовательно, сленг является групповым языком в устной форме. При этом он уточняет: "ни в формах слов, ни в чередовании гласных социальная стратификация языка не отражается, поскольку принадлежит к лексике и семантике, в которых творчество социальных слоев проявляется наиболее выразительно. Потому о чешском сленге надо говорить с точки зрения лексики и семантики. Некоторые типичные черты имеются также в грамматике [5. S. 312]. Этими грамматическими чертами Оберфальцер считает использование словообразовательных формантов, субстантивацию имен прилагательных, использование форм одушевленного рода в в.п. ед. ч. и так называемую синонимическую деривацию. Однако статья Оберфальцера основана преимущественно на перечислении лексических единиц и соответствующих словообразовательных средств, что и соответствует необходимому пониманию способов изучения сленга. Оберфальцер, таким образом, описывает военный, студенческий, охотничий, спортивный сленги, а также элементы сленга в речи южночешских рыбаков, плотогонов, бродячих музыкантов, горняков, холостильщиков из Моравии, официантов, карточных игроков и художников. Здесь надо подчеркнуть, что даже если статья Оберфальцера и определяет на сегодняшний день понимание сленга и его изучение в Чехии, то это связано не с его понятием а н и е м сленга (Оберфальцер подчеркивал прежде всего его групповую принадлежность и устность), а с его подходом к изучению сленга и с тем, что он положил начало такого рода исследованиям.

Более подробное описание развития взглядов на сленг в чешской лингвистике выходит за рамки настоящей статьи, поэтому перечислим только лингвистов, внесших значительный вклад в определение понятия *сленг* в отечественной богемистике.

Сленгом в широком смысле слова занимались Ф. Травничек, диалектолог А. Келлнер, Б. Коудела, Ф. Цуржин, Й. Филипец, Л. Глимеш и А. Едличка. В настоящее время в этом направлении работают прежде всего Я. Кубачек вместе с Я. Хлоупеком. Вопросам сленга (а также аргю) были посвящены лингвистические конференции, организованные педагогическим факультетом Западночешского университета в г. Пльзень в 1977, 1980, 1984, 1988, 1995 и 1998 гг.

О п р е д е л я я понятие *сленг*, чешские лингвисты сосредоточивались до сих пор преимущественно на изучении языковой стороны этого явления. Сленг в этом случае определяется как "составляющая часть национального языка, представляющая собой слой разговорной лексики, включающий специальные наименования, который употребляется людьми определенных профессий или одинаковых сфер интересов и которая служит, с одной стороны, для языковой коммуникации, а с другой – как средство выражения принадлежности к данной группе" [3. S. 18].

В богемистике чаще всего в понятие *сленг* включаются:

1) *групповой сленг* людей, занимающихся деятельностью по интересам, например, сленг картежников, авиамоделлистов или спортивный сленг, если спортом занимаются не профессионально, а в качестве хобби;

2) *профессиональный сленг*, например, сленг пивоваров, столяров, врачей и т.д. Критерием для дифференциации выступает характер сленговой среды (хобби или профессия), а также соотношение когнитивных и экспрессивных сленговых наименований. Мы считаем эту классификацию неудачной, так как сленг включает в себя также языковые единицы, не обладающие определенностью с точки зрения отношения к данным подгруппам.

Следующая классификация основана на различии более широкого и более узкого понимания сленга. *Широкое понимание* сленга включает в это понятие и слова профессиональные, и слова из сферы занятий по интересам – такое понимание представлено в чешской лингвистике главным образом работами Я. Губачека [8]. *Узкое понимание* относит к сленгу только нелитературные выражения членов групп по интересам. При таком понимании сленга в других случаях говорят о профессиональном говоре.

Проблематикой *профессионального говора* занимается у нас Я. Хлоупек. Он определяет профессиональный говор следующим образом: "Как в случае сленга и арго, так и в случае профессионального говора следует говорить не о структурных образованиях национального языка, а лишь об особых лексических или фразеологических слоях" [9. S. 45]. Таким образом, Хлоупек понимает профессиональный говор как особый набор средств выражения определенной группы работников, пользующихся в трудовом процессе или на службе терминами или терминологическими сочетаниями, безотносительно к их литературности, только ради их речевой экономности и однозначности их понимания в данном коллективе. Формальным преимуществом нелитературного оборота по сравнению с соответствующим литературным выражением может быть его *о д н о с л о в н о с т ь* как проявление стремления к экономии речи.

В этом определении профессионального говора мы считаем особенно важным то обстоятельство, что Хлоупек обходит вопрос литературности. Каждый сленг в широком смысле слова (а тем более сленг профессиональный – профессиональный говор) содержит целый ряд выражений литературного характера, часто даже с тенденцией перехода в официальную терминологию. Поэтому мы считаем, что если сленг традиционно определяется как нелитературный слой специальных наименований (общепотребительное определение, встречающееся в большинстве чешских лингвистических работ), тогда необходимо дифференцировать терминологически понятие *сленг* и понятие *профессиональный говор*.

Причиной дифференциации сленга и профессиональной речи является их номинативная мотивация. Сленговые наименования создаются главным образом в среде с общими интересами как проявление сплоченности, и их употребление вызвано стремлением выразить принадлежность говорящего к определенной социальной группе, или же стремлением передать социальную роль, в которой говорящий выступает в данной группе. В этом смысле выразительные средства сленга намного интенсивнее выполняют социально репрезентативную функцию, чем выразительные средства в профессиональной речи. Сленговые наименования при этом возникают как синонимы по отношению к выражениям нейтральным, литературным и соотносятся с качествами исключительности, неофициальности, экспрессивности, остроумия и языковой игры. Следует добавить, что сказанное касается *н е л и т е р а т у р н ы х* слов.

Примером могут быть цитаты из студенческого сленга¹.

В вузе экзаменуют прежде всего во время сессии, т.е. *zkoušáči* или *období (zkoušky své inteligence)*. Результаты экзаменов записывают в зачетную книжку, в сленге – *lovcova zápisníku* или *lovcových zápisů*. Прежде чем студент может сдавать экзамен, он должен получить зачет – *lovit, vyloudit* или *vytlačít zápichlal, hobra, hobřika* или *kolibříka*.

Студенты распределяют экзамены на легкие: *dávačky, hokovky, frašky, indexovky, brnkačky, vokecávačky, prd'árny* или *rodinné* и на экзамены трудные: *smrt'áky, makačky na bednu, kanonády* или иронически *ňamky*. Экзамены, на которых часто проваливаются,

¹ Студенческий сленг является одним из самых выразительных в чешском языке. Типичной чертой, которой студенческий сленг отличается от большинства остальных (например, профессиональных), является его чрезвычайная изменчивость и в коллективе, и во времени. Эта изменчивость проистекает, с одной стороны, из многообразия и разнообразия студенческой жизни, с другой стороны, из стремления к постоянному восстановлению языковых средств. Следующим отличительным признаком студенческого сленга является высокая экспрессивность. Частым средством экспрессии является метафоричность и метонимичность наименования.

называют *sejta* или *pročesávačky*, причем принять участие в таком экзамене передается как *jít do plynu* или *čekat na voustrou* [10].

Профессиональные слова, в отличие от сленга, проникают и в литературный язык; в устных научных выступлениях они являются стилистически нейтральными и не носят экспрессивный характер. Это касается прежде всего выражений понятийного характера. Профессионализмы выступают терминологическими членами оппозиции с официальными терминами. Если они употребляются достаточно часто, то вытесняют официальные термины в сферу книжного употребления, а сами приобретают характер терминологии в соответствующих специальностях. Механизм терминологизации профессионализмов до сих пор не изучен полностью, по-видимому, потому, что зависит от многих языковых и неязыковых причин. Его изучение благоприятно сказалось бы на определении общих принципов структуризации специальной лексики отдельных отраслей.

Общая характеристика сленга, с точки зрения современной чешской лингвистики, включает также определение условий возникновения и развития сленга, выделение главных признаков сленга и, наконец, описание внутренних дифференцирующих факторов сленга.

Основными условиями возникновения и развития сленга считают:

1) *особые потребности, связанные с определенной трудовой деятельностью* – каждый род деятельности требует знания названий предметов (например, машин и их деталей, приборов, инструментов и т.п.), оборудования рабочего места и действий, необходимых для трудовой деятельности (см. более подробно [11]);

2) *особая среда* – среда, создающая условия для особых потребностей²;

3) *особая социальная группа*, которая создается на общем рабочем месте. Последнее укрепляет группу, создает в ней отношения, связанные с трудовой деятельностью.

Сленг может возникнуть и существовать только тогда, когда соблюдается взаимодействие всех трех условий. Если отсутствует основное условие, т.е. специальный род деятельности, то возникает не сленг, а особый вариант разговорной речи. Вариантами разговорной речи можно считать *речь горожан*, *речь молодежи*, *речь семьи* или *сленг собраний*.

Главные признаки сленга можно классифицировать с двух точек зрения – языковой и неязыковой, учитывая, однако, что конечно все признаки проявляются в конкретном сленге комплексно и во взаимодействии.

Основным языковым признаком сленговых наименований Я. Губачек (см.: [3]) считает их *нелитературность*. Сленговые наименования существуют как синонимичные нелитературные к наименованиям литературным, чаще всего в области терминологии, например, *duhák* – ‘радужная форель’, *nebesák* – ‘пруд без водостока’, *ma ně žák* ‘повозка с оснащением передвижного цирка’, *menažérka* – сегодня ‘общепринятое название зверинца’, раньше это слово служило обозначением передвижного цирка, показывающего только номера с дрессированными зверями. Не все сленговые выражения обладают одинаковой степенью нелитературности, некоторые названия находятся на грани литературного употребления, например, *skákač*, *padač*, *saltař*, *drezér*, *balancér* другие (прежде всего профессионализмы) могут переходить в литературный язык (см. выше).

Следующим из основных признаков образования сленговых наименований Я. Губачек называет *коммуникативную функциональность*. Это значит, что сленговые выражения часто удовлетворяют актуальным требованиям языкового выражения: меткости, краткости и одновременно однозначности. Универбиация является основным способом образования сленговых наименований. Она реализуется при помощи:

² Почти каждая среда, в которой работает много людей, состоящих во взаимных контактах, стимулирует их общаться с отклонениями от литературной нормы.

– д е р и в а ц и и: например, *hodňák* ‘бочка лежащая на земле’, *groňák* ‘лошадь в яблоках’, *lysec* ‘голый карп’, *předák* ‘передний плот в связке’, *slabák* ‘плот из тонких бревен’, *spodák* ‘артист на нижней трапеции’, *šupináč* ‘карп с чешуями’, *transportka* ‘транспортный ящик’;

– с л о ж е н и я основ: например *sedmivorák* ‘связка из семи плотов’, *sladmistr* ‘мастер в солодовне’, *dvouhorkový rybník* ‘пруд, в котором ловят рыбу раз в два года’.

Вторичная универбизация налицо в метонимических и некоторых метафорических названиях:

– м е т о н и м и ч е с к и е названия: *borovák* ‘плот из сосновых бревен’, *deničká* ‘рабочий, работающий только днем’, *němčina* – ‘конструкция пропуска плотины, построенная впервые немцами’, *zálivka* ‘крайнее бревно плота, постоянно заливающееся водой’.

– м е т а ф о р и ч е с к и е названия: *jádro* ‘внутренность сети’, *koruna* ‘верхняя часть плотины’, *žlice* ‘неглубокая сеть’, *papírák* ‘тонкая, исхудавшая рыба’, *pecky* ‘дупла в плотине’, *pasák* ‘обруч посередине бочки’.

Губачек [З. S. 21] в подтверждение актуальности универбизации указывает на тот факт, что сленговые составные наименования встречаются в сленгах очень редко³.

С и с т е м н о с т ь в сленгах не столь очевидна, как в структурных образованиях национального языка. Ее можно усматривать в том, что сленговые выражения как лексико-семантические единицы создают систему и на общесленговом уровне, и в рамках отдельных сленгов. Так, системными в сленге являются выражения однословные, в то время как составные наименования такими не являются. В рамках одного сленга системность проявляется также в том, что сленговыми названиями обозначают, как правило, самые важные явления одного класса, одной семантической категории, даже в том случае, если литературные названия вполне приемлемы (особенно, когда они приемлемы и для устных выступлений, т.е. они кратки, четки и однозначны). Так, например, в рыбацком сленге имеют свое сленговое обозначение все рыбы, разводящиеся в прудах, например *ryba* ‘карп’, *had* ‘угорь’, *lidožrouť* ‘щука’, *kleně* ‘голавль’, *pražma* ‘лещ’ и т.д., а также инструменты и снасти рыбаков, их деятельность, связанная с разведением и ловлей рыбы в прудах. Системность в указанном значении особенно заметно проявляется в тех сленгах, в которых наличествует тенденция к языковой игре или экспрессивности; это явление наблюдается прежде всего в студенческом, ученическом, военном или спортивном сленгах.

В сленгах выражено и стремление к д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и п о н я т и й, которая может оказаться в сравнении с научным термином большей или меньшей; но всегда соответствует средствам наименования в трудовой среде или сфере по интересам. Например, наряду с общесленговым наименованием карпа – *ryba* рыбаки применяют для большей дифференциации понятий и сленговые названия *šupináč* ‘карп с чешуей’, *lysec*, *lysek* ‘карп без чешуи’, *naháč* или *špíglák* ‘голый карп’.

Характерным признаком образования сленговых наименований является стремление к экспрессивности. Э м о ц и о н а л ь н а я и э к с п р е с с и в н а я окраска сленговых названий усиливаются, если последние переносятся в другую среду или воспринимаются людьми из другой социальной среды. Наряду с экспрессивной, в сленгах присутствует также лексика понятийная, без экспрессивной окраски, служащая только для номинации, т.е. профессионализмы.

С лингвистической точки зрения для сленговых выражений характерно то, что они

³ Другое положение наблюдается в речи молодежи. Молодежь использует определенные типы составных наименований (мультивербальные единицы) как средства п е р з и ф л я ж а. Перзифляж является типом иронии не явной, а эвфемистической, состоящей, как правило, в насмешливом подражании или ироническом сдвиге его значения. Например, комплексные наименования типа *Viniho nápoj* ‘вино’, *Rifliho kalhoty* ‘джинсы’, *Mixériho stroj* ‘миксер’ являются перзифляжем определенных стиливых черт, в данном случае специальных названий типа *Torricelliho trubice*, достигая при этом комического эффекта (см. более подробно [10]).

образованы с учетом специфических требований устной коммуникации, а также то, что они всегда описательны, мотивированы, и никогда не бывают знаковыми, немотивированными.

С внеязыковой точки зрения самым важным признаком образования сленга является "замкнутость" среды. В обособленной среде, например, в среде бродячих циркачей, пивоваров, рыбаков сленговые выражения являются, по сравнению со средой студентов, спортсменов или любителей мотоспорта, устойчивыми, частота их употреблений высока и проникновение сленговых выражений за рамки среды является незначительным.

Другими внеязыковыми факторами могут быть различный состав сленговой среды и, наконец, аспекты психические, проявляющиеся двумя способами:

– стремлением членов определенной среды выражать языковыми средствами исключительность своей деятельности;

– стремлением быстро влиться в среду или демонстрировать свою принадлежность к ней, даже за рамками этой специфической сленговой среды.

Наряду с основным делением на сленг и профессиональный говор, можно говорить и о внутренних дифференцирующих факторах сленга. Ими являются:

1) *специальность и деятельность*, в которой сленг функционирует. Сленги можно дифференцировать согласно специализации рода деятельности, например, спортивный сленг распадается на сленги легкой атлетики, гимнастики, велоспорта, хоккея и т.д.;

2) *территория*, на которой происходит становление и функционирование сленга. Сюда входят территориально различающиеся наименования одного и того же денотата;

3) *возраст сленгового наименования*. Такую дифференциацию можно проводить только в среде с давними традициями. В этом случае можно различать выражения немаркированные, т.е. употребляемые в настоящее время, выражения отмирающие (архаизмы), и, наоборот, выражения новые, т.е. неологизмы; например, в рыбацком сленге выражение *parket* обозначает место бочек для рыбы, вокруг которых рыбаки должны совершать много движений, "танцевать", т.е. много *se natancují*;

4) по *форме* сленговые и профессиональные названия классифицируются на однословные и составные. Возможна их дальнейшая дифференциация: однословные по частеречной принадлежности, составные – по семантической характеристике на словосочетания и фразеологизмы;

5) применяя *принципы ономаσιологического подхода* сленговые наименования можно классифицировать на образованные транспозицией (семантические способы образования, заимствования, образование составных наименований) и образованные трансформацией (деривацией, сложением, аббревиацией).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Kopečný F.* Etymologické poznámky k termínu slang, žargón a argot / Sborník přednášek z II. konference o slangu a argotu. Plzeň, 1982. S. 28–30.
2. *Klein E.A.* Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. Amsterdam; London; New York, 1967. T. 2; *Skeat W.W.* An Etymological Dictionary of the English Language. Oxford, 1961. T. 4.
3. *Hubáček J.* O českých slanzích. Ostrava, 1981.
4. *Маковский М.М.* Языковая сущность современного английского языка "сленга" // Иностранные языки в школе. 1962. № 4.
5. *Oberpfalzer F.* Argot a slangy / Československá vlastivěda. Sv. III. Jazyk. Praha, 1934.
6. *Nekvapil J.* K vysvětlující síle českého jazykovědného pojmu slang // Sborník přednášek ze IV. konference o slangu a argotu. Plzeň, 1989. S. 35–48.

7. *Ertl V.* Z našich časopisů // Naše řeč. 1924. № 8. S. 58.
8. *Hubáček J.* Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů // Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě 17. Praha, 1971.
9. *Chloupek J.* Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno, 1986.
10. *Jaklová A.* Mluva mládeže v jižních Čechách. České Budějovice. 1984. S. 75–76; Návrh všestranného rozboru řečové činnosti mládeže. Naše řeč. 1986. № 69. S. 233–241. Interdisciplinární výzkum řečové činnosti mládeže. České Budějovice. 1986; Cirkusácký slang // Jihočeské vlastivěda. Sv. Jazyk. České Budějovice. 1987. S.119–126; Možnosti analýzy mluvy mládeže // Sborník přednášek ze IV. konference o slangu a argotu. Plzeň, 1989. S. 15–32.
11. *Bečka J.V.* Slangy a podmínky jejich vzniku a vývoje. // Sborník přednášek z konference o slangu a argotu v Plzni. Plzeň, 1978. S. 2–73.



© 2000 г. Е.П. АКСЕНОВА

Г.В. ФЛОРОВСКИЙ О СЛАВЯНСКОЙ ИДЕЕ

В сборнике Славянского благотворительного общества в Болгарии помещена статья Г.В. Флоровского, специально посвященная вопросу о славянской идее. С чем это связано?

Славянское благотворительное общество (Славянского благотворительно дружество) было организовано в 1899 г. в Софии. Одним из первых председателей общества был Ив. Вазов. Большую роль в определении характера и направления деятельности общества сыграл Ст. Бобчев, возглавлявший его с 1903 г. до 1940 г. Общество было создано по аналогии со Славянским благотворительным обществом в Петербурге ревностными сторонниками славянской идеи и осуществляло благотворительную, гуманитарную, культурную и общественную деятельность, поддерживало тесные связи с подобными организациями в других славянских странах, прежде всего – в России. Его печатными органами были журнал "Славянски глас", газета "Славянски вести" и другие издания. Общество принимало активное участие в подготовке и проведении славянского съезда в 1910 г. в Софии. За свою вековую историю оно меняло формы и методы работы в соответствии с потребностями жизни, но никогда не отставало панславизм и мессианиззм, выступая за мир и славянскую взаимность [1].

В 1924 г. болгарское Славянское благотворительное общество отмечало свое 25-летие. Эта дата дала повод для подведения итогов сделанного и определения перспектив деятельности. К юбилею был подготовлен сборник, вышедший из печати в 1925 г. [2]. Опубликованные в нем статьи отражали те или иные аспекты славянской идеи. По составу авторов это было международное издание, в котором приняли участие представители почти всех славянских народов. От России в сборнике выступали ученые русского зарубежья – В.А. Францев, М.Г. Попруженко, А.А. Башмаков и Г.В. Флоровский.

Георгий Васильевич Флоровский (1893–1979), философ, богослов, историк русской мысли, окончил историко-филологический факультет Новороссийского университета. В конце 1919 г. (по другим сведениям – в начале 1920 г. [3. С. 27]) он покинул Россию и влился в ряды "первой волны" эмиграции. Вначале жил в Софии, а в конце 1921 г. поселился в Праге, где преподавал на Русском юридическом факультете Пражского университета. В 1923 г. защитил диссертацию "Историческая философия Герцена". С 1926 г. жил в Париже и был профессором Православного Богословского института. После второй мировой войны (в 1948 г.) уехал в США и работал в Колумбийском, Бостонском, Гарвардском и других университетах Америки. В Принс-

Аксенова Елена Петровна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

тоне был профессором на кафедре славистики и богословия и, наряду с богословскими дисциплинами, вел семинары по истории славянской литературы [4. С. 653–655].

Г.В. Флоровский вырос в семье священнослужителя, с детства он уверился в истинности православия и оставался тверд в вере (без колебаний или фанатизма) в течение всей своей долгой жизни. В 1932 г. он принял сан священника. Еще в юности Флоровский познакомился с трудами С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, П.Я. Чаадаева, славянофилов, с "Историей русской церкви" Е.Е. Голубинского, которые оказали влияние на формирование его мировоззрения. В нем было сильно ощущение "русскости" (в культурном и духовном смысле), но он был открыт и другим культурам [5. С. 261].

Кризисные события первых двух десятилетий XX в. рождали смятение в умах. "Экзистенциальная неустойчивость побуждала искать новую опору, новую систему ценностей" [5. С. 263]. Особенно существенно это было для эмиграции, в среде которой зародилось евразийство (как поиск ответов на насущные вопросы). Г.В. Флоровский полагал, что в процессе своего исторического развития русская мысль зашла в тупик – следует идти иным путем [5. С. 267]. Он стоял у истоков евразийства, разделяя взгляды других представителей этого направления на то, что происходит крушение европейской культуры, Запад клонится к упадку, Восток переживает подъем и это начало эпохальных перемен в истории человечества [3. С. 30–31]. Флоровский считал, что будущее России связано с религиозным и духовным подвигом, раскрывающим приоритет свободы творчества, культурного свершения. Для этого необходимо лучше понять подлинные ценности русского народа, неотделимые от его веры и церкви [5. С. 266].

Но Флоровский не считал себя "доктринальным евразийцем", занимая собственную позицию, и вскоре отошел от этого движения, не приемля его политизации [3. С. 31]. С конца 1920-х годов и почти до конца жизни он активно участвовал в экуменическом движении (в 1954 г. был избран президентом Национального совета церквей в США). В научном творчестве Флоровского преобладали религиозные и философские темы. Его работы отличает критический анализ первоисточников, богатство фактического материала, широкий исторический фон, продуманность выводов. Самая известная книга ученого – "Пути русского богословия" (Париж, 1937) – представляет собой очерк русской интеллектуальной истории и философско-общественных направлений с акцентом на религиозном аспекте мысли. Флоровский пользовался авторитетом у русских и западных коллег. Научная, преподавательская и экуменическая деятельность принесли Флоровскому мировую известность. Идеи ученого способствовали усилению внимания западных исследователей к истории русской философии XX в. [4. С. 653–655].

В декабре 1924 г. Г.В. Флоровский откликнулся на просьбу болгарского Славянского благотворительного общества и прислал из Праги для юбилейного сборника статью под названием "Вселенское предание и славянская идея" [2. С.25–33]¹. Эта тема отвечала общей тематике издания и в то же время была связана с собственным исследовательским интересом автора. Статья вполне соответствовала тем взглядам, которые одухотворяли научную деятельность ученого в начале 1920-х годов, и одновременно отражала те влияния, которые оказывали на его труды идеи других философов и исследователей. Это небольшое по объему сочинение является творческой переработкой и дальнейшим развитием тех положений, которые нашли отражение в более ранних работах Флоровского – "Из прошлого русской мысли" [6. С. 7–27], "Вечное и преходящее в учении русских славянофилов" [6. С. 31–51] и др. Статья, по сути, представляет собой сжатый очерк истории русской философской мысли в течение ста лет (со всеми ее национальными особенностями), истории "вызревания" русской национальной идеи, идеи о призвании России как великой славянской державы, как носительнице славянской идеи.

¹ Статья (с купюрами) опубликована также в сборнике [6. С. 256–264].

Начиная свои рассуждения, Флоровский отталкивается от высказываний Гегеля, что развитие философской мысли связано с определенными эпохами и лишь с некоторыми народами. Но при этом у определенного народа возникает определенная философия, в которой раскрывается его дух, жизнь, идея. "В муках и сомнениях преодолевает созревающая мысль", вступая в "философскую жизнь", расхождение "внутреннего стремления" и "внешней действительности". Такое состояние, подчеркивает Флоровский, "переживало русское общественное сознание на рубеже двадцатых и тридцатых годов прошлого (XIX. – Е.А.) века" [2. С. 25–26].

Тридцатые годы XIX в. – это эпоха, которая получила меткое название "ледохода русской жизни" (М.О. Гершензон), это эпоха, "впервые сознательно на себя взглянувшая" (Ф.М. Достоевский). Характеризуя "людей тридцатых годов", Флоровский отмечал, что они "точно уязвлены какою-то великою тоской, волнительной и жуткой", в их душевной жизни господствовали "героические аффекты, восторженно-ликующие или безотрадно-скорбные, – но всегда неистовые и неукротимые". Они больны, по словам Флоровского, «внутренним раздвоением, лермонтовской грустью и "рефлексией". И это щемящее переживание разрешается то бескрылым влечением к духовной цельности, тягою к природе, культом патриархального быта, то грустными воспоминаниями о героических этапах невозвратимого прошлого» [2. С. 26]².

Ощущение "пробуждающегося сознания" было настолько сильно в "людях тридцатых годов", что они уже могли четко определить дальнейший шаг развития русской мысли. "Нам необходима философия, все развитие нашего ума требует ее", писал И.В. Киреевский в 1830 г. Цитируя его, Флоровский выделяет следующие слова: "Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного бытия" [2. С. 26]. И действительно, подтверждает Флоровский, русская философская мысль родилась из жизни – сначала в виде литературной критики и историософских рассуждений, в пылу "культурно-патриотических" споров, затем, "умудренная историческим опытом", она поднималась на новые высоты, покидая пределы обыденного сознания и сублимируясь в философские проблемы [2. С. 26–27]³.

Этап развития философской мысли, который связан с эпохой тридцатых годов XIX в., по мнению Флоровского, характеризуется тем, что "в русское сознание неотразимо врезалась *загадка России*" (курсив мой. – Е.А.) и встали вопросы о русском "лице", о "русской судьбе", о "русском призвании" (в этом ученый видит название "славянофильских проблем") [2. С. 27]⁴.

Славянофильское интеллектуальное течение Флоровский образно и тонко называет "национально-философской тревогой". Он считает "грубою ошибкою" преувеличение роли "германского идеализма" в возникновении славянофильского мировоззрения. «Западные идеи, – писал он, – служили скорее "гипотезою оформления", нежели "броидильным ферментом"»⁵. Из немецкой философии русская мысль

² Обращает на себя внимание психологический аспект данной характеристики (как и некоторых других сюжетов статьи). По всей вероятности, это можно объяснить тем, что в студенческие годы большое влияние на Г.В. Флоровского оказал ученик и последователь В. Вундта, Н.Н. Ланге, преподававший в университете философию и увлекавшийся экспериментальной психологией.

³ В своей первой печатной статье "Из прошлого русской мысли" Флоровский, рассматривая труды Н.А. Бердяева и М.О. Гершензона, писал, что русские мыслители 1830–1840-х гг. сумели создать "философию цельного духа"; идея "цельного знания" была вызвана самой жизнью, духом "русского романтизма": эта идея была присуща и славянофилам, и западникам; поиски "цельности" характерны для всей русской литературы. Но построение на этой идее "целого миропонимания находим мы только у славянофилов", а позднее – у Соловьева [6. С. 10, 13, 15, 25–26].

⁴ Подобные движения общественной мысли, как отмечал Флоровский, были характерны и для других славянских народов – польский мессианизм, иллиризм, чешское национальное возрождение [6. С. 31].

⁵ В более ранней работе Флоровский писал, что славянофильская мысль "потекла" по "тому же фарватеру", что и гегелевская. Из того, что славянам "надлежит осуществить определенный общечеловеческий идеал", делался вывод, что "этот идеал есть славянский идеал", выражающий сущность славянского духа; вся история славянства – "воплощение некоторой высшей нормы" [6. С. 43].

"заимствовала не столько готовые решения, сколько вечные вопросы и очередные задания", которые при этом сразу же "наполнились новым, своим" содержанием⁶.

Философия истории⁷ стала одной из центральных проблем русской мысли, в которой с неизбежностью все отчетливее вырисовывались как "объект философского раздумья" Европа, Запад и все нагляднее раскрывалось русское своеобразие и резче обозначалось различие Запада и России⁸. Вследствие этого возникала "борьба с Западом", наполнявшая "всю историю общественного сознания" в XIX в.⁹ Изучив труды ранних славянофилов, Флоровский убедился, что они подходили к этой проблеме не поверхностно, трактуя "борьбу" не "в смысле обособления во что бы то ни стало", а углубленно, рассматривая ее как "ответственную оценку... начал и достижений" Запада, как "вопрос о наследовании" [2. С. 27]¹⁰.

Антитеза "Россия – Запад", отмечает Флоровский, появляется уже в первом "философическом письме" Чаадаева, "врезывается в русское внимание и образует живое средоточие философского раздумья вплоть до наших дней", т.е. сто лет спустя. Эту антитезу можно было рассматривать с точки зрения "различия исторических возрастов" – такое толкование легло в основу "западнического" направления. Но сразу же возникло и другое понимание ее – как "двух духовных типов". Явилась мысль, что "причина особенностей русской исторической судьбы лежит в наследии древней Византии". Это своеобразие с особой силой почувствовали "славянофилы" – И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, И.С. и К.С. Аксаковы¹¹. Наряду с

⁶ Практически, то же самое подчеркивал чуть позже А.А. Кизеветтер, критиковавший евразийцев, в лекции "Славянофильство и евразийство" (20 января 1928 г.): "Гегель утверждал, что наступит пора, когда выступит народ, вобравший всю полноту разума. По его учению таким народом является германский". Славянофилы же "утверждали, что завершит процесс не романо-германский мир, а русско-славянская культура" (см.: [7. С. 21]).

⁷ В статье "Вечное и преходящее в учении русских славянофилов" Флоровский подробнее объяснял, как этические построения славянофилов облеклись в форму "философии истории", хотя их идеал лежал вне исторических пределов и был общечеловеческим. Но этот идеал должен был быть введен в историческую перспективу, чтобы "определить его роль, как фактора грядущей эпохи", как реальной исторической силы. И с этого шага, считает Флоровский, «начинается философское "грехопадение" славянофильства». Историческая постановка вопроса о смысле жизни внесла, по мнению Флоровского, диссонанс в славянофильскую доктрину. «Общечеловеческий идеал был связан с "народным духом" одной этнографической группы, цель человеческой жизни двинута в узко-национальную историческую перспективу. Славянство выступало в роли "самого высшего" народа. Это было ложно само по себе...» Кроме того, таким образом "открывался полный простор мессианистическим соблазнам". "Ранние" славянофилы старались избежать этой опасности, хотя это им не всегда удавалось. "Поздние" славянофилы, опиравшиеся на "политиканствующее здравомыслие Данилевского", отвергли понятие "общечеловеческого" в угоду "культурно-историческим типам" со своей "исключительностью" [6. С. 42–45].

⁸ В другом месте Флоровский отмечал, что для "романтических идеалистов сороковых годов" за историко-географической противоположностью России и Европы стояла другая антитеза – "принуждающей власти и творческой свободы", или еще глубже – "разума и любви". Славянофилы отвергли Запад не из-за "чуждеплеменности" населения и "этнической далекости" культуры, а поняв "ложь и внутреннее бессилие" начал его бытия; Запад был отвергнут как "пройденная ступень"; в качестве "общечеловеческой" возникла новая мудрость – славянского мира [6. С. 37, 39].

⁹ На несостоятельность противопоставления "романо-германской" Европы и "христианского Востока" в культурной, духовной сферах, в области философской мысли обращал внимание и П.М. Бицилли (который, в годы студенчества Флоровского, преподавал в Новороссийском университете русскую историю) в статье «"Восток" и "Запад" в истории Старого Света», опубликованной во втором евразийском сборнике "На путях" (Берлин, 1922) (см.: [7. С. 85–91]).

¹⁰ В упомянутой выше лекции Кизеветтер также отмечал, что славянофилы, с одной стороны, признавали обреченность Западной Европы, с другой – считали славянство "одной из семей европейской семьи народов". Поэтому для славянофилов "все сводилось к тому, какую роль будут играть славяне в Европе", и прежде всего Россия "как великая славянская страна" [см.: [7. С. 19–20]].

¹¹ В 1920-е годы в постановке проблем и исследовательской методике Г.В. Флоровский в какой-то мере подражал М.О. Гершензону (издателю "Вех", автору трудов о славянофилах), который, в частности, говоря о поколении 1830–1840-х годов, считал их идеи поиском ответа на вопрос о природе русской души и ее предназначении [5. С. 268].

ними Флоровский называет имя «своеобразного "западника" и "русского социалиста" Герцена» [2. С. 28]¹².

У всех русских мыслителей, пишет Флоровский, раздумье "над русской судьбой шло параллельно размышлению о судьбах Европы"¹³. Еще в 1833 г. известный русский писатель и философ В.Ф. Одоевский пророчествовал, что Россию "ожидает или великая судьба, или великое падение", с ее "победой соединена победа всех возвышенных чувств человека", с ее "падением – падение всей Европы". Он высказывал мысль, что будет "русское завоевание Европы", но завоевание "духовное". В результате подобных рассуждений Одоевский в эпилоге к философскому роману "Русские ночи" (1844) приходил к выводу: "Деятнадцатый век принадлежит России". Его высказывания, по определению Флоровского, – "первая формулировка идеи о русском призвании в Европе" [2. С. 28–29].

Причины противоположности России и Европы объяснялись по-разному: их видели в религиозных началах, в "общественно-бытовых типах", в "этнографических носителях". Из этих компонентов, по мнению Флоровского, складывалась «тройственная антитеза: *православного Востока и латино-протестантского Запада, мира общинного и "социального" и мира "политического" или государственного, мира славянского и мира романо-германского*» [2. С. 29]. Между "антитетическими парами" существовала "внутренняя связь и зависимость".

Для характеристики явления противопоставления одного из "начал" явно недостаточно. Например, "этнографическая характеристика" (славянские или романо-германские народы), отмечал Флоровский, должна быть дополнена указанием той идеи, "во имя которой народ или племя имеет право не только на физическую наличность, но и на достойное историческое и действительное существование", в которой заключается его "национальное призвание". И в этой связи "ссылка на историческую молодость славянства и России", к которой прибегают большинство русских мыслителей, сама по себе ничего не объясняет – "одного возраста еще мало для обеспечения творческих достижений, деяний и подвигов". Но если ему нередко придавалось "решающее значение, то потому, что за молодостью виделась какая-то тайна, предчувствовалось... какое-то новое слово". И представители разных направлений – славянофилы, Герцен, Достоевский, Тютчев и другие – "при всех своих расхождениях", указывал Флоровский, были убеждены, что «России на челе славянства суждено и предначертано сказать миру "тайнство свободы", слово "примирения", братства и всеобъемлющей, всечеловеческой любви». Через весь век пронесли надежду и веру "в высокое *историческое предназначение* (курсив мой. – Е.А.) славянского мира и славянской России русские мыслители". Эти вера и надежда, по мнению Флоровского, не потеряны еще даже после мировой войны и революционных событий в России, хотя "по-прежнему таинственна и загадочна русская и славянская судьба и по-прежнему вызывает она споры" [2. С. 29].

Эти споры, объяснял Флоровский, возникали из-за расхождения в понимании "самого смысла национальной идеи и национального своеобразия". В одном случае понимание заключалось в отождествлении *призвания* "с врожденным характером народа", а своеобразии сводилось "к неповторимой индивидуальности". В таком подходе Флоровский усматривал перенесение центра тяжести на "этнографический субстрат", приравнивание народа к организму, в результате чего "весь вопрос сводился к возрасту", а самобытность определялась множественностью «"культурно-исто-

¹² В другой связи Флоровский отмечал, что "разделение русского мыслящего общества" возникло не "в области общественно-исторического мирозерцания", не "в сфере национально-политического самосознания", а гораздо глубже – в "области ... идеалов" [6. С. 35, 37].

¹³ Европейский идеал "разложился" перед "судом их совести", писал Флоровский в другой работе, и на смену ему явился "патриотизм... как сознательно исповедуемое Credo" [6. С. 37].

рических типов", аналогичной множественности видов биологических»¹⁴ [2. С. 29–30]. Такая точка зрения, по мнению Флоровского, была присуща А.И. Герцену, Н.Я. Данилевскому, К.Н. Леонтьеву и др.¹⁵ "Биологический оборот" получала и "борьба с Западом", поскольку акцентировалось внимание на его "старости" в противовес "молодости" славянского мира. Совершенно отклонялся вопрос о каком-либо значении "романо-германского" Запада для славянского "культурно-исторического типа". Вопрос о "национальном творчестве сводился к требованию оставаться "самим собой". Таким образом, общечеловеческие начала просто отметались "во имя свободы физиологического самоопределения видов" [2. С. 30]¹⁶.

Иное понимание национальной идеи, призвания, было у ранних славянофилов. Оно восходило, по мнению Флоровского, "к исповеданию безусловной, общезначимой и единой Правды"¹⁷. При таком взгляде народы рассматривались "как свободные носители некоторых самодовлеющих ценностей, – или как отрицатели и разрушители этих ценностей, – как служители идеалов или идолов". Это – не "простое осуществление врожденных и неотъемлемых задатков", это – "служение, стремление и воплощение, овладевание", т.е. простор для творчества в культуре [2. С. 30].

А.С. Хомякова, Ю.Ф. Самарина, И.В. Киреевского Запад никогда не "отталкивал", отмечает Флоровский, "его приобретений они никогда не отрицали, но их пугала его "противоестественная старость", причину которой они видели в подмене идеалов идолами, "отвлеченными началами". Они осуждали Запад за отпадение от Вселенской Церкви. (Позже и Вл. Соловьев, которого Флоровский называет "верным учеником ранних славянофилов", видел в преодолении разделения церковей «единственный путь к разрешению "Великого Спора" – Востока и Запада»¹⁸.) [2. С. 31].

Признавая Россию "особым миром", славянофилы видели своеобразие русской духовной жизни в ее восточно-православном происхождении. Не только Россия, но и "славянство в целом" является преемником восточного православия; "именно потому с такую трагическою болью переживали Юрий Самарин и Тютчев страдания одноплеменной, но иноверной Польши, потому так тревожила Тютчева судьба Чехии и ее безрелигиозного возрождения" [2. С. 31].

¹⁴ Именно в отождествлении истории человечества с природными процессами Флоровский видел утопичность воззрений многих русских философов и писателей [5. С. 269].

¹⁵ Если у Данилевского, писал Флоровский в другой статье, оригинальность русского и славянского пути основывается на исторической особенности, значимость славянских культурных ценностей видится в том, что они "порождение славянского национального гения", то Н.Н. Страхов пошел еще дальше, утверждая, что "славянские идеалы имеют и значение *лишь* для славянства", которое не навязывает их другим народам. "Из этого положения Страхова, – замечает Флоровский, – легко вывести аналогичное право других этнических единиц утверждать *для себя* в качестве высших культурных ценностей начала совершенно иные". Н.С. Трубецкой ("Европа и человечество") и вовсе отрицает "общечеловеческую" культуру, признавая культуру "плодом расовой и национальной традиции", т.е. решает вопрос "в плоскости эмпирического факта". Флоровский, соглашаясь со справедливостью утверждения, что "общечеловеческой" культуры, "как факта, не было, и не будет, и не может быть", что всякое "культурно-историческое явление национально", в то же время подчеркивал, что речь идет о "вечном", об общем для всех, "в чем раскрываются универсальные ценности" [6. С. 46–48].

¹⁶ В студенческие годы Флоровский проявлял интерес к естественным наукам; отголоски этого интереса, видимо, сказались на его подходе к рассматриваемой проблеме, когда акцентируется внимание на "биологическом" аспекте историко-философских взглядов. Такой подход порой выглядит несколько упрощенным, но в то же время наглядно показывает суть расхождения позиций различных мыслителей.

¹⁷ Правда, истина, в другом случае уточнял Флоровский, для них была связана с католической церковью, чьи традиции сохраняются в коллективной жизни народа [6. С. 14].

¹⁸ В качестве альтернативы эсхатологической перспективе Соловьев проповедовал идею новой христианской теократии. Эта идея оказалась в центре внимания Флоровского в 1920-е годы [5. С. 268]. Однако позиция самого Флоровского несколько отличалась – он говорил о возврате к истокам общей, нераздельной церкви.

Не подвергая сомнению православие, Флоровский полагал (вслед за Вл. Соловьевым¹⁹), что "наследие подлинной и потому вселенской истины обязывает к преодолению замкнутости", и Россия сознательно должна "становиться Востоко-Западом или Западо-Востоком, продолжая и исполняя европейскую историю". Мысль Ф.М. Достоевского о единении человечества как русском призвании "была предвосхищена не только Киреевским, но и Одоевским". Флоровский приводит слова малоизвестного русского богослова и мыслителя А.М. Бухарева²⁰: "Православие есть вселенское сокровище, сокровище для всего мира, и как священный залог вручено оно России". Для раннего русского славянофильства, по мнению Флоровского, "национальная надежда" заключалась в создании православной культуры как "синтеза древних отеческих преданий и неудачных опытов Запада". В их "вселенском, общечеловеческом пафосе не было никакой опасности для самобытности", поскольку речь шла о "единстве интернациональном... не исключаящем многообразия... свободно-индивидуальных, а не принудительно-особенных форм". Вопрос стоял не о смене одного "народа" другим, а "о творческом²¹ собирании" всего наследия, накопленного человечеством [2. С. 31].

Только при такой постановке вопроса, считает Флоровский, достигается подлинная "высота исторического понимания". Не "биологическое самоутверждение, но волнительное сознание безусловной ценности врученного славянству вселенского дара православной веры дает право на существование своей, особой восточно-православной культуры". И центр тяжести в данном случае лежит не "на славянской, а на православной особенностях". В то же время православие представляет собой такую "полноту", цельность, от которой "отпали" другие "особенности". Поэтому на России лежит долг: понять, оценить неудачи, ошибки Европы, "*трагедию* Запада", начавшуюся с разделения церквей, в воспоминании «пройти через все исторические пласты вплоть до сияющих времен "древней неразделенной Церкви"» [2. С. 32].

Рассуждая о России, которой большинство русских мыслителей отводило особую роль в славянском сообществе, особую *миссию* в мировой истории, Флоровский останавливается и на задачах всего славянства. По его убеждению, славянство "должно вспомнить о своей исторической матери, о православной Византии, о своих первоучителях, равноапостольных братьях". Славянам нужно "почувствовать свою духовную связь с культурой православного древнего мира". Флоровский напоминает, что в православии были "истоки и силы славной культуры югославянской, старой Болгарии и старой Сербии". Осуществление славянской идеи, по его представлению, заключается не в "новых изобретениях" и "новых синтезах"²², а в "*возврате ... к покинутому или забытому единому стаду Православной Церкви*". В этом он видит "единственный залог славянского единения и братства" [2. С. 33]. В осуществлении этого дела Фло-

¹⁹ В другой статье Флоровский, разделяя взгляды Соловьева, подчеркивал его мысль, что лишь "на почве вселенских, безусловно общезначимых начал возможна подлинная культура", и национальная задача славянства состоит в активном служении ценностям, которые "будут избраны за высшее благо в свободном подвиге мысли и веры". Он соглашался с Соловьевым и в том, что история славян может приобрести "культурную ценность" только в случае добровольного подчинения народа "общечеловеческим идеалам вселенского характера", подчинения, которое стало бы "источником творческого подъема" [6. С. 50].

²⁰ Бухарев Александр Матвеевич (1824–1871), окончил Московскую духовную академию (1846), принял монашество (под именем Феодор). Преподавал в Московской и Казанской духовных академиях, был членом комитета духовной цензуры в Петербурге. Автор работ "О православии в отношении к современности" (СПб., 1860), "О миротворении" (СПб., 1864), "О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской" (М., 1865) и ряда других богословских и философских сочинений. Неизданным остался большой труд "Иисус Христос в Своем слове".

²¹ В системе философских взглядов Г.В. Флоровского важное место отводится "творческому началу"; на нем неоднократно акцентируется внимание и в рассматриваемой статье, и в других работах ученого. Так, заслугой славянофилов Флоровский считал определение "самобытности" (в отличие от "своеобразия") как соотносимого с понятием "творчество" [6. С. 50].

²² Вероятно, намек на деятельность неославистов и попытки создания различных славянских коалиций на внешнеполитической арене.

ровский не только возлагает надежды на человеческие возможности, но и уповает на волю и помощь Божию. Об этом свидетельствует эпиграф и заключительные строки статьи, где приводятся одни и те же слова из Евангелия (Мф 3, 9), что "Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму" [2. С. 25, 33].

Г.В. Флоровский, по оценке М. Раева, "имел острый и последовательный философский ум. Его не удовлетворяли общие рассуждения и эмоциональные обобщения. Он стремился постичь структуру идеи" [5. С. 269] и проследить ее развитие. Даже в небольшой статье он попытался проанализировать процесс формирования русской национальной философской мысли, обратить внимание на основы и главные составляющие различных философских и историософских воззрений.

Излагая взгляды русских мыслителей, Флоровский высказывал и свое отношение к тем идеям, которые представлялись ему стержневыми для русской философии. Его симпатии явно на стороне ранних славянофилов. Для него было важно, что наиболее значимой составляющей их воззрений являлось православие. Последователем ранних славянофилов Флоровский считал Вл. Соловьева, концепции которого были близки ему и оказывали на него определенное влияние.

"Вселенское предание" для Флоровского – это пронесенная и сохраненная через века и поколения историческая память о прежних временах духовной общности и неразделенной Церкви. Разделение церковью явилось, по мнению философа, тем от-правным моментом, который положил начало "размежеванию", взаимному отдалению Запада и Востока. Славяне в основной своей массе являются носителями старинного "предания", поскольку они сохранили истинную, восточно-православную веру. Но есть славяне, отошедшие от этой веры. Поэтому "славянская идея" представляется Флоровскому как духовное и культурное единение славян на основе православия, творческое освоение достижений Запада и великая миссия по спасению Европы – возвращению к единой Церкви.

Однако доводы и рассуждения Флоровского, приведенные в небольшом историко-философском очерке, наводят на мысль о том, что славянская идея занимает в его изложении подчиненное место, являясь производной от русской идеи, от взглядов на противоположность России и Европы и уверенности в особом призвании России в разрешении "спора" между Востоком и Западом. Россия была самой мощной державой в славянском и православном мире, но не единственной, и потому, отдавая ей приоритет в спасательной миссии, невозможно было игнорировать ту славянско-православную среду, центром которой, согласно теориям многих русских мыслителей XIX – начала XX вв., являлась Россия. Аналогичной точки зрения, нашедшей отражение в рассмотренной статье, придерживался и Г.В. Флоровский.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лазарова Е. Славянского движение в България. София, 1997. С. 63–232.
2. Юбилеен сборник на Славянского дружество в България. 1899–1924. София, 1925.
3. Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия // Георгий Флоровский – священнослужитель, богослов, философ. М., 1995.
4. Бычков С., Колеров М. Флоровский Георгий Васильевич // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. М., 1997.
5. Раев М. Соблазны и разрывы: Георгий Флоровский как историк русской мысли // Георгий Флоровский – священнослужитель, богослов, философ. М., 1995.
6. Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998.
7. Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992.



© 2000 г. А. ЛЕВИН-ШТАЙНМАНН

ВОПРОС О ПОНЯТИИ "ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА
(BŁĄD FRAZEOLÓGICZNY)" И ВОЗМОЖНОСТИ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПОЛЬСКОЙ ПРЕССЕ)

Наблюдая с 1994 г. по 1995 г. новейшие явления в польском языке, в том числе в области фразеологии, и изучая литературу на фразеологические темы, вышедшую до настоящего момента в Польше, я не раз сталкивалась с понятием *фразеологическая ошибка*, которое С. Бомба определил как "*непреднамеренную или неосознанную инновацию*, которая не имеет никакого специального предназначения, т.е. не обогащает, не оттеняет содержание высказывания, но, наоборот, может исказить его или лишить всяческого смысла" (ср. [1. S. 34]).

Проблема фразеологической ошибки не нова. Сходная идея была высказана уже в 1983 г. В.А. Ицковичем и Б.С. Шварцкопфом, которые назвали данное явление "*собственно языковой ошибкой*", вытекающей из нарушения языковой нормы [2. С. 187]. В результате проведенных на данную тему исследований упомянутые выше лингвисты предложили в известной степени похожие классификации фразеологизмов и контекстов, в которые они входят.

Так, С. Бомба, например, вводит два понятия: понятие *внутрифразеологической ошибки* (*błąd wewnętrznofrazeologiczny*), под которым он понимает все семантические, структурные и грамматические модификации, расширяющие фразеологический состав инновации, а также употребление фразеологических единиц в неправильном¹ значении, и понятие *внефразеологической ошибки* (*błąd zewnętrznofrazeologiczny*), под которым подразумевается употребление фразеологизма в неправильном словесном окружении [2].

В.А. Ицкович и Б.С. Шварцкопф классифицируют названные выше явления немного иначе, выделяя *внутриединичные*, касающиеся одного фразеологизма, и *межединичные*, т.е. модификации, возникающие в результате контаминации двух единиц [2].

Интересен, несомненно, тот факт, что эти лингвисты признают в принципе указанные явления языковыми средствами, при помощи которых производится определенный коммуникативный эффект. Впоследствии встанет вопрос о том, каким образом можно будет отличать так называемые преднамеренные инновации от непреднамеренных, так как все перечисленные факторы, а именно: незнание структуры, значения и сочетаемости данной единицы и другие, легшие в основу фразеоло-

Левин-Штайнманн Анке – доцент славистической кафедры Лейпцигского университета.

¹ Предложенный мною перевод польск. *niewłaściwy*.

гической ошибки и касающиеся "как акта речи, так и сопутствующих высказыванию обстоятельств и даже психологического состояния говорящего в данный момент", (ср. [1. S. 34], вряд ли поддаются проверке или поддаются ей с большим трудом. Это касается в основном тех случаев, когда мы имеем дело с письменными примерами, в задачу которых не входит отражение устной речи.

Как мне представляется, самым важным и, судя по всему, единственно объективным критерием для определения фразеологической ошибки является фактор непонимания смысла данной модификации слушателями/читателями, причиной которого может быть нераспознавание фразеологизма², с одной стороны, или неадекватность значения, возникшего в результате модификации фразеологического образа по сравнению с собственным фразеологическим значением – с другой.

Нельзя недооценивать и субъективного фактора этой проблемы, который может отражаться в том, что реципиент, в том числе и сам исследователь, ложно понимает смысл определенного высказывания. Приведем пример, рассмотренный С. Бомбой [1. S. 57]:

(1a) Kłapa gąga "dyrektora" budzi kilka refleksji. Uznanie dla aparatu ścigania, **który jak po nitce do kłębka, potrafił** na podstawie sygnałów, sfotografowanych twarzy stałych bywalców kolejek, penetracji środowiska Łódzkiego marginesu społecznego rozszyfować i zlikwidować spekulacyjną grupę przestępczą.

(Промах шайки "директора" заставляет задуматься. Спасибо криминалистам, которые, следуя путеводной нити сигналов, фотографий завсегдаев тюрем и благодаря содействию определенных общественных слоев города Лодзь смогли раскрыть и ликвидировать преступную группу спекулянтов.

С. Бомба критикует мнимую замену глагольных компонентов, хотя очевидно, что *rozszyfować* и *zlikwidować* представляют собой зависящие от глагола *potrafił* инфинитивы. Инновация состоит в том, что глагол *potrafić* здесь выделился из фразеологического сочетания и функционирует независимо от него. Фразеологизмом осталась лишь наречная часть бывшей глагольной единицы, что на письме выделяется запятой. Эту точку зрения подтверждает подобного рода употребление той же единицы в других контекстах:

(16) Przedtem wykopała je zachłanna sąsiadka... Wówczas odkryto, że dolary są fałszywe. Tak właśnie, **po nitce do kłębka**, policja trafiła do ogrodka Joanny. (ТТ³. 1995. 3 IV).

До этого их выкопала жадная соседка. В то же время оказалось, что доллары фальшивые. Именно так, распутывая нить, полиция наткнулась на участок Иоанны.

Данное явление нередко встречается в фразеологических системах различных языков: оно представляет продуктивное средство при новообразовании или преобразовании уже существующих фразеологизмов.

Следующие примеры доказывают весьма наглядно, что необходимо тщательно проверять материал, прежде чем обоснованно применять понятие "ошибка":

(2) Matka nie puszczała mnie do szkoły, nie pozwalała wychodzić samemu z mieszkania. **Gadała bzdury do ściany** i krzyczała: "Heil Hitler!" Dziś żałuję że tak późno zdecydowałem się na ucieczkę. (naj 1995. 13–19 II).

Мать не пускала меня в школу, не позволяла выходить одному из дома. Она говорила вздор и кричала: "Хайль Гитлер!" Сегодня я жалею, что так поздно решился убежать.

² Примерами могут служить, во-первых, модификация в рамках двукомпонентных фразеологизмов, в результате которой заменяется семантически опорный компонент словом из другого, т.е. "неродного", семантического класса или, во-вторых, одновременная замена нескольких компонентов, которая препятствует распознаванию подлинной единицы.

³ Прimenяемые сокращения вместо оригинальных названий рассмотренных газет и журналов обозначают: ТТ = Tele Tydzień; NTO = Nowa Trybuna Opolska; Żng = Życie na gorąco.

(3) Boję się też, że sprawa wywoła lawinę podobnych. Że będzie woda na młyn dla cierpiących na nadmiar czasu i zawiści. (NTO, 1994. 8 XI).

Опасаются также, что это дело вызовет целую лавину ему подобных. Что оно *льет воду на мельницу* тех, кто страдает от избытка времени и зависти.

По-видимому, в первом из этих примеров речь идет о контаминации фразеологизмов: *gadać bzdury* и *gadać do ściany*⁴ (в смысле "болтать чепуху впустую"). В этом случае данное сочетание справедливо считать бессмысленным и несовместным, т.е. классической фразеологической ошибкой, в качестве причины которой можно, ссылаясь на выше названные факторы, привести незнание говорящим, до известной степени необразованным мальчиком, структур и точных значений приведенных единиц.

Как "ошибку" в третьем примере уместно оценить сочетание единицы с контекстом при помощи предлога *dla* вместо атрибутивной формы или беспредложного родительного падежа⁵.

Такого рода реализация, когда она не вносит никаких семантических модификаций, очень близка к варианту, распространению которого в значительной степени способствуют средства массовой информации и, по мнению Д. Буттлер, ускоряют его [5. S. 81]. Доказательством такого процесса следует считать реакцию группы польских учителей, которой был предъявлен данный отрывок: ни один из них ничего "необыкновенного" не заметил.

Прежде чем будут представлены на обсуждение другие подобные примеры, необходимо вернуться к некоторым теоретическим посылкам. Понятие "фразеологическая ошибка" имплицитно то, что с объективной точки зрения *что-то неправильно*, и по этой причине оно тесно связано с понятием "норма", которую специально для фразеологии С. Бомба определяет таким образом: "*Norma frazeologiczna: to zbiór zaaprobowanych przez polską społeczność językową frazeologizmów oraz reguł określających sposób realizacji ich tożsamości w tekstach*" (Фразеологическая норма – это корпус апробированных польской языковой общностью фразеологизмов, а также правил, определяющих способ их идентификации в текстах) [1. S. 13].

Важно подчеркнуть, что понятие "норма" определяется всей языковой общностью, а не отдельными лингвистами. Это ответ на вопрос, является ли данный корпус используемых фразеологизмов замкнутым или доступным для различных инноваций. В этом отношении я полностью согласна с мнением Э. Вайхт, причисляющей признак варьированности к свойству нормы, "потому что развитие нормы происходит, в первую очередь, путем селекции вариантов и соответствующего изменения кодификации". А относительно польской фразеологии она, по моему мнению, правильно констатирует, что "разница между фиксированной нормой системы и нормой употребления весьма велика" [6. S. 24 и сл.].

Подобную позицию поддерживает и Д.О. Добровольский, который склоняется к мнению, что все те употребляемые модификации, которые не вносят никаких изменений в семантическую структуру фразеологической единицы, целесообразно считать узальными ([7] из выступления в Лейпцигском университете 19 I 1999 г.). Это касается, с одной стороны, всякого рода расширения фразеологического состава, а с другой – тех типов замены компонентов, которые не оставляют никаких "семантических следов", т.е. таких модификаций фразеологической формы, которые совместимы с фразеологическим значением. В таком случае мы имеем дело с так называемыми фразеологическими вариантами, возникновение которых санкционировала языковая общность путем широкого и продолжительного употребления

⁴ Разумеется, не полностью исключена и возможность дословного понимания части *do ściany* ("до стены"), т.е. то обстоятельство, что данная женщина действительно говорила "чепуху", оборачиваясь лицом к стене, хотя такая ситуация, судя по всему, маловероятна.

⁵ Ср.: [3] под заголовочным словом *mlyni* [4. S. 281].

данной инновации⁶. На ход такого процесса лингвист едва ли может повлиять, за ним в конечном итоге остается исключительно функция фиксации его результатов.

В преобладающем большинстве случаев целесообразно говорить только об *уместности/неуместности* употребления предлагаемой модификации в определенном контексте и в данной коммуникативной ситуации.

Фразеологизмы примеров (4)–(7) (см. ниже): *rzucanie kłód pod nogi (kolei)*⁷, *szcześcia* (вместо *nieszczęścia*) *chodzą parami trzymać* (вместо *grać*) *pierwsze skrzypce* или *chadzać wspólnymi* (вместо *własnymi*) *ścieżkami, szczykami*, скажем, как самостоятельные единицы неприемлемы. Их смысл, который безусловно подвергся весьма значительному изменению, и форма допустимы или недопустимы лишь после анализа данного контекста, причем позиция, а также мнение оценивающего читателя/слушателя играют большую, если не решающую роль.

В следующих примерах все введенные инновации мне представляются достаточно мотивированными высказываниями в целом, они вносят интересный и удачный вклад в оформление всего текста. Особенно выразительным средством оказывается замена компонента словом с антонимическим значением – см. примеры (5) и (7):

(4) Michał Ogórek... objaśnił ostatnio, że zachęcanie do korzystania z deficytowej *kolei* jest *rzucaniem jej kłód pod nogi*. И нас inaczej. W Lewinie Brzeskim wyciągają spod PKP nie *kłody* wprawdzie, ale podkłady (NTO. 1995. 18/19 II)⁸.

Михал Огурек... недавно объяснил, что поощрение использования убыточной железной дороги тормозит ее развитие (в знач.: вставляет ей палки в колеса). У нас по-другому. В Левине Бжеском из-под рельсов РКР (Польской железной дороги) вытягивают, правда, не колоды, а шпалы.

(5) "Szcześcia chodzą parami"

Tak skomentował swoją wygranę w konkursie "5 × 5 milionów" S. Tyczyński z Brzegu. Pan T. niedawno postanowił kupić cinquecento na raty. Firma, do której się z tym zgłosił również ogłosiła konkurs – zwycięzca został zwolniony z pierwszej wpłaty. Tak się złożyło, że *wygrał i tu*. (NTO. 1995. 14/15 I).

"Счастье одно не приходит"

Так прокомментировал свой выигрыш в конкурсе "5 × 5 миллионов" С. Тычинский из Бжега. Господин Т. недавно решил купить cinquecento в рассрочку. Фирма, в которую он обратился, также объявила конкурс: победитель освобожден от первого взноса. Случилось так, что он выиграл и здесь.

(6) Szczególnie towarzyszy Beria. Oczywiście, to on *trzyma* batutę w rękę, a przecież to naukowiec powinien *trzymać pierwsze skrzypce*. (NTO. 1995. 4/5 III).

Особенно товарищ Берия. Конечно, это он держал дирижерскую палочку, в то время как именно ученый должен играть первую скрипку.

Chadzają także *wspólnymi* ścieżkami

Mafijny układ kotów

Kot, mimo że *chadza własnymi ścieżkami*, jest jednym z najbardziej *towarzyskich* zwierząt. (NTO. 1995. 4/5 III).

Ходят одной дорогой
Мафиозная структура котов

⁶ Выдвинутый здесь критерий направлен против попыток некоторых фразеологов, прежде всего западных стран, которые считают возможным определять фразеологические варианты посредством опросов. Не подлежит, однако, сомнению, что такого рода эксперименты, как бы тщательно ни были выбраны группы испытуемых и подготовлены вопросы, никогда не будут полностью лишены субъективного фактора.

⁷ Объектом референции стал предмет вместо человека.

⁸ Русский эквивалент *вставляет палки в колеса* (кому), впрочем, как нельзя лучше подошел бы в данном контексте, потому что обходит противоречие между компонентом "нога" и словосочетанием окружения – "железная дорога".

Кот, несмотря на то, что ходит туда, куда захочет, является одним из самых компанейских животных.

Другого истолкования требуют примеры: *mieć na głowie kogoś* (вместо *coś*), *ziemia osuwa się* (вместо *usuwa się*) *spod nóg, osiąść* (вместо *spocząć*) *na laurach, bajońskie gaże* (вместо *sumy*), *popaść w jakieś (finansowe) tarapaty* и т.д. Они потеряли характер уникальности, т.е. стали вариантами реализации фразеологизма, широко употребляемыми в разговорной практике.

Расширяющаяся сочетаемость некоторых фразеологизмов типа *mieć na głowie kogoś*, например: *tam na głowie dzieci, ma pięcioro dzieci na głowie* или *zmieniać kogoś jak rękawiczki*, например: **kobiety, mężczyźni, przyjaciółki** и т.п., является выражением прогрессирующего абстрагирования фразеологического значения, в результате которого можно применить данную единицу к более обширному кругу явлений и обстоятельств. Продолжающееся обобщение значения ведет и к тому, что фразеологический образ, вначале сыгравший большую роль в образовании фразеологического значения, все больше стирается и оттесняется на задний план. Или другими словами: фразеологический образ не каждый раз осмысливается говорящим заново во всех деталях; когда говорящий применяет данный фразеологизм к людям, это означает в конечном итоге, что он оперирует в данном случае одним значением единицы⁹. Таким образом, будут возможны такие сочетания фразеологизмов с контекстом, как: *Ludzie psy wieszają na naszych antenach*¹⁰... (Люди вешают собак на наши антенны).

В дальнейшем обсуждаемые варианты коснутся так называемых внутрифразеологических изменений, сравните: *ziemia osuwa się* вместо *usuwa się spod nog*, *osiąść* вместо *spocząć na laurach* и др.

Модифицированные в них фразеологические образы в результате замены глагольных компонентов сохраняют свои традиционные фразеологические значения потому, что свободные значения этих глаголов обладают совместными или связанными друг с другом семами со значениями базовых компонентов, т.е. они принадлежат в данном случае к одному и тому же семантическому классу глаголов. Это является причиной того, что приведенные варианты признаются языковой общностью "совсем нормальными образованиями", и их равноправное сосуществование с первоначальной формой – лишь вопрос времени.

Довольно далеки от фразеологической ошибки также примеры типа *bajońskie gaże*; образующие с основным *bajońskie sumy* так называемую фразеологическую серию вследствие того, что в ходе развития этой единицы прилагательное может выразить значение, приписанное ему в фразеологическом сочетании и вне этого сочетания, с другими существительными, имеющими какую-то связь с деньгами.

Возможность выделения семантически опорной части из фразеологического состава способствует, кроме того, возникновению вариантов, подобных обнаруженному в одном интервью:

(8) – **Pierwsze kroki** ma już Pani za sobą. Plotka głosi, że jest Pani nieślubną córkę Włodzimierza Korcza... (ТТ. 1994. 12 XII).

Первые шаги у Вас уже позади (вместо: Вы сделали). В кулуарах поговаривают, что Вы внебрачная дочь Владимира Корча...

Сравнение с традиционным глагольным компонентом *stawiać* показывает, что таким образом будут возможны и сочетания со словами из совсем другого тематического круга. Инновация здесь состоит в том, что номинальной части данного глагольного фразеологизма как бы приписывается квазисинонимическое значение

⁹ В противном случае образное представление скорее препятствовало бы их применению к этому референциальному классу.

¹⁰ Что касается употребления данного фразеологизма, см.: [8. S. 5] и написанную мной рецензию на этот словарь, которая вышла в журнале "Anzeiger für slawische Philologie" (1995. Bd. XXIII, S. 181–189).

типа 'начало', что дает возможность употреблять ее достаточно свободно во всевозможных контекстах. Смысл при этом остается постоянным и, следовательно, понятным. Разумеется, такого рода употребление далеко от того, чтобы стать вариантом подлинной единицы, но одновременно и столь же далеко от так называемой фразеологической ошибки.

Однако гораздо чаще, чем сокращение или замена определенного компонента другим, употребляется в речевой практике средство расширения фразеологического состава, в допустимости которого под углом зрения современного развития языка уже едва ли кто сомневается. Интересен в этой связи тот факт, что такими расширяющими фразеологический состав словами выступают часто одни и те же слова, например: *popaść w poważne* или *finansowe tarapaty*. Нельзя недооценивать такое явление и по отношению к лексикографической обработке, о которой пойдет речь далее.

Радикальное изменение окружающего мира и появление огромного количества новых реалий проявляется не только в форме целого ряда новых слов, но и в форме многочисленных пре- и новообразований устойчивых словосочетаний. Примером тому может служить новый член фразеологической сети¹¹ *znajdować się/hyć w malinach* с обобщенным значением "находиться в трудной ситуации", образовавший один из главных заголовков: "*Sponsorzy w malinach*" журнала "Sukces" в декабре 1994 г. По данным тех же исследователей [9. S. 102] до сих пор только две из шести максимально возможных позиций такой сети были заняты единицами с компонентом *malina*, а именно: "кто-л. провоцирует трудную ситуацию", ср. *wpuścić/wpędzić w maliny* (kogoś) и "кто-л. оказывается в трудной ситуации", ср. *wleść w maliny*¹².

В зависимости от того, примет ли языковая общность этот новый член фразеологической сети или нет (я, впрочем, для такого развития ситуации никаких препятствий не вижу), надо решить вопрос о его включении в словари. Это, пожалуй, касается и изменяющегося окружения фразеологизмов данного типа, потому что, как мне недавно довелось установить, обозначения предметов также могут выступать в роли подлежащего, например: *filmowy western* *popadł w tarapaty*.

Это как раз те случаи, где необходимо вырваться из замкнутого круга и считать такие варианты ошибочными, потому что их еще ни один словарь не фиксирует или у них нет языковой традиции, ср. [10. S. 37; 1. S. 6]

Ждут переосмысления и другие многочисленные варианты и образования, неизвестные еще во времена творчества С. Скорупки и потому им не зафиксированные. В поисках материала для этой статьи я столкнулась в том числе с фразеологизмом *wpakować* (например: *duże pieniądze*) в *bloto*, глагол которого я сначала считала индивидуальным вариантом компонента *wyrzucać* фразеологизма *wyrzucać pieniądze w błoto*, ср. пример (9).

(9) *Część maszyn sprzedał, a pozostałe, w tragicznym stanie walają się jeszcze tu po kątach. Setki milionów w ten sposób wpakował w błoto.* (NTO. 1994. 9 IX).

Часть машин он продал, а остальные в плачевном состоянии пока валяются по углам. Таким образом он *затоптал* в землю сотни миллионов.

Оказывается, что данная в этой форме единица в значении: "провалить, запороть капиталовложения большого масштаба" стала общеупотребительной и что глагол в ней выступает в своем давно известном значении 'ulokować, wyłożyć na coś'¹³, так что можно говорить о новообразовании на основе контаминации слова и фразеологизма. К сожалению, его ни в одном словаре нельзя найти.

¹¹ Что касается использованной в конкретном случае терминологии, я ссылаюсь на польских фразеологов А. Левицкого и Б. Реякову, см. [9. S. 97 и сл.].

¹² Ср. также кандидатскую диссертацию на данную тематику: *Schyndel Ines van*. Erscheinungen der lexikalisch-syntaktischen Paradigmatik von Phrasemen im Russischen. Berlin, 1992.

¹³ Ср. [3] под заглавным словом *wpakować*.

Поставим теперь вопрос о выборе надлежащего материала для словаря. По моему мнению, включение появившихся новых фразеологизмов и фразеологических вариантов, получивших "одобрение" языковой общности и в известной мере ставших узусом, составляет одну из задач соответствующего, вновь издаваемого словаря. При их лексикографической обработке необходимо в общих чертах указать возможности их расширения и сочетаемости с контекстным окружением. Кроме уже названных здесь случаев, однако, не следует принимать во внимание целый ряд инноваций.

Так, например, не стоит указывать на сочетания, носящие дополнительный метонимический характер вследствие их применения к "необычным", т.е. не подтвержденным языковой общностью, референциальным сферам, ср. (10) и (11):

(10) Leszek Pogań oburza się jednak na takie stawianie sprawy, a "Rynek Śląski" nabiera wody w usta. (НТО. 1994. 14 XI) Лешек Погань, однако, возмущается таким положением вещей, а "Rynek Śląski" (= газета) как воды в рот набрал.

(11) Najwięksi kawalarze to biznesmeni. Jak zrobią witz, to cały kraj boki zrywa. Z policji. (Sukces. 1994. 10).

Самые большие шутники – это бизнесмены. Когда рассказывают анекдот, вся страна надрывает животики. Над полицией.

Это касается и сочетаний, являющихся скорее исключением в речевой практике. Часто такие примеры берутся в кавычки или такое "неожиданное" употребление комментируется, ср.:

(12) Powinna wiedzieć, że mężczyźni są praktycznie bezsilni, kiedy ich mały przyjaciel zaczyna rządzić własnymi prawami. A mówiąc wprost "penis ma własną głowę"... (НТО. 1994. 18 XI).

Надо знать, что мужчины практически бессильны, когда их маленький друг начинает действовать по своему усмотрению. Короче говоря, у пениса есть своя голова.

Последний пример, несомненно, считается немалым количеством лингвистов "фразеологической ошибкой", но что наши средства массовой информации сделали бы без таких возможностей играть с языком?!..

В конечном итоге мне удалось разыскать только два подходящих примера, демонстрирующих фразеологическую ошибку. Первый из них – прокомментированная выше контаминация *gadać bzdury do ściany*. Совсем недавно я, кроме того, столкнулась с употреблением *goły jak święty turecki* в значении "совершенно голый", что явно свидетельствует о незнании его структуры, а не о возникновении фразеологического неологизма или омонимии, ср.:

(13) Ostatnio powiedziała, że jeżeli ktokolwiek zechce, aby się rozebrała na planie, zgodzi się pod warunkiem, że partner też będzie gołutki, jak święty turecki. (ТГ. 1995. 29 V).

Недавно она сказала, что, если кто-нибудь захочет, чтобы она разделась в фильме, она согласится только при условии, что ее партнер также будет в чем мать родила (досл.: гол, как турецкий святой).

Можно представить и ошибки другого рода, как, например, изменение порядка следования компонентов в так называемых фразеологических сращениях [2. С. 196] или любую замену одного или более компонентов, вследствие которой становится невозможным или очень трудным распознать и понять данный фразеологизм. Насколько сложным может быть установление такой ошибки мне хочется показать на двух примерах из сборника С. Бомбы [1. С. 62, 67 и сл.]. Употребление форм фразеологизмов:

1) *naważyć piwa* (несуществующее слово) вместо *nawarzyć piwa* (наварить пива) и

2) *języczek uwagi* (стрелка внимания) вместо *języczek u wagi* (стрелка у весов)

указывает или на незнание этимологии и точной структуры этих единиц – в таком случае мы имеем дело с собственно фразеологической ошибкой – или на опisku или опечатку – в таком случае целесообразно говорить об *орфо-*

графической ошибке. Именно таковой можно считать второй из приведенных примеров¹⁴.

Все рассмотренные явления доказывают, что употребление понятия "фразеологическая ошибка" принципиально возможно; в то же время незначительное количество такого рода явлений и примеров на практике не оправдывает столь широкого и частого употребления данного термина в научной литературе, какое наблюдается в Польше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bąba S.* Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej. Poznań, 1986.
2. *Ицкович В.А., Шварцкопф Б.С.* К типологии формальных отклонений от фразеологической нормы // Литературная норма в лексике и фразеологии. М., 1983.
3. *Skorupka S.* Słownik frazeologiczny języka polskiego. 7-e wyd. Warszawa, 1993.
4. *Ehegötz E. et alia.* Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch. Leipzig, 1990.
5. *Buttler D.* Norma, uzus i kodyfikacja w dziedzinie stałych związków wyrazowych // Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej III. Wrocław, 1985.
6. *Weicht E.* Die phraseologische Varianz in der polnischen Gegenwartssprache. Berlin, 1986.
7. *Dobrowol'skij D.O.* Phraseologie aus kognitiver Perspektive: Sind die Idiom-Modifikationen regelgeleitet? Лейпциг, 1999.
8. *Bąba S., Liberek J.* Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego. Warszawa, 1994.
9. *Lewicki A.M., Rejakowa B.* Pojęcie rodziny frazeologicznej // Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej II. Wrocław, 1985. S. 95–105.
10. *Lewicki A.M. et alia.* Z zagadnień frazeologii. Warszawa, 1987.

¹⁴ Мои предположения основываются на оппозиции признаков мотивированности (первый пример) и немотивированности (второй пример) фразеологических значений. У единицы *nawarzyć piwa* семантическая доля глагольного компонента в целостном значении остается неощутимой, неясной, что может объяснить такого рода "смещения". Однако мне представляется невозможным такой случай, когда кто-нибудь сознательно употребляет форму *języczek uwagi* в "правильном", т.е. обычном для фразеологизма *języczek uwagi*, контексте.



В.В. СЕДОВ. Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование. М., 1999. 320 С., илл.

Рецензируемая работа В.В. Седова является продолжением и до известной степени завершением фактического двухтомника ученого о славянах в древности и в раннем средневековье [1; 2], о котором нам уже доводилось писать [3]. Одновременно книга "Древнерусская народность" представляет собой развитие на хронологически последующем материале целого ряда положений указанного фундаментального двусоставного труда.

В первом разделе (главе) монографии (нумерация глав и параграфов в книге отсутствует, что несколько затрудняет работу с ней), носящем историографический характер, рассматривается процесс развития научных знаний о древнерусской народности с первой половины XIX в. до современности.

Второй раздел посвящен славянским культурно-племенным образованиям в южных регионах Восточно-Европейской равнины накануне становления древнерусской народности. В.В. Седов кратко характеризует пеньковскую археологическую культуру – культуру антов ранне-средневековых письменных источников, а также сложившиеся на антской территории восточнославянские племенные образования хорватов, уличей, тиверцев; "восточнославянский" сегмент пражско-корчакской археологической культуры, к началу VIII ст. в лесостепной части левобережной Украины эволюционировавшей в культуру типа луки-райковецкой, в свою очередь, к началу X в. трансформировавшейся в древнерусскую. По мнению ученого, имеются серьезные основания отождествлять население во-лынско-киевско-припятской части пражско-корчакской культуры и сменившей ее культуры типа луки-райковецкой с восточно-

европейскими дулебами "Повести временных лет" (ПВЛ); в VIII–IX вв. на этой территории происходит становление племенных союзов волян, древлян, полян и дреговичей.

Центральным в данной главе безусловно является параграф, посвященный русам. В нем В.В. Седов излагает свою точку зрения на сложную и неоднозначно решаемую в научной литературе проблему "откуда есть пошла Русская земля". С конца VII в. или рубежа VII–VIII ст. в Днепровском левобережье формируется волынцевская археологическая культура, созданная, по мнению исследователя, носителями именьковской культуры (конец V–VII в.) Среднего Поволжья, покинувшими места прежнего расселения под давлением тюркоязычных кочевников. Ее основопологателями являлась часть славян антов, переместившаяся на Волгу после гуннского погрома. Во второй половине VIII и первой половине IX в. волынцевская культура эволюционно трансформируется в безусловно славянские роменскую (летописные северяне) и близкородственную ей боршевскую культуры (этноним данной славянской группировки не сохранился в источниках). Имела также место инфильтрация волынцевского населения в бассейн верхней Оки; оно здесь составило ядро вятичей. Основываясь в первую очередь на сведениях "Баварского географа" (IX в.), В.В. Седов считает, что этнонимом "волынцевцев" являлось самоназвание *русь*. При этом он полемизирует с той доминирующей сегодня группой исследователей, которые возводят др.-русс. *русь* к западнофинскому *Ruotsi*, имеющему истоки в скандинавских языках. Древнерусское слово, вслед за О.Н. Трубачевым,

ученый трактует как иранское лексическое наследие у славян. Таким образом, русы "были одним из крупных диалектно-племенных образований славянства, представленного в V–IX вв. именьковской и вольтинцевской культурами" (С. 67). Не позднее 30-х годов IX в. на территории распространения вольтинцевской и производных от нее культур складывается раннегосударственное образование Русский каганат с вероятным центром в Киеве; оно закончило свое непродолжительное существование в результате похода князя Олега 882 г. или ранее, под натиском хазар (см. также [4]).

В третьей главе монографии анализируется освоение славянами лесной полосы Восточно-Европейской равнины, ранее заселенной племенами финской и балтской языковых групп. "В конце IV–V в. в лесных землях Восточной Европы на широкой территории появляется в довольно большом количестве целый ряд изделий провинциально-римского происхождения" (С. 90): шпоры удила, железные бритвы, железные пластинчатые кресала, В-образные рифленые пряжки, двушпильные втульчатые наконечники копий и т.д., серпы особого типа, каменные жернова для ручных мельниц, а также культуры ржи и овса, неизвестные населению Восточной Европы в раннем железном веке. "Все описанные вещевые находки провинциально-римских типов, широко распространенные в позднеримское время в Средней Европе, а в период великого переселения народов занесенные в лесные области Восточно-Европейской равнины, являются ярким, достаточно определенным показателем миграции более или менее значительных групп средневропейского населения. Объяснить этот мощный прилив изделий позднеримских типов в лесные земли Восточной Европы какими-либо иными мотивами (торговыми операциями или культурными контактами) никак невозможно" (С. 109–110).

"О миграции в севернорусские земли в середине I тыс. н.э. большой массы населения говорят и трансформации, которые коренным образом изменили местное культурное развитие... Начиная с V в. на всей территории распространения вещевых находок средневропейских провинциально-римских типов формируются новые культуры, прямо не связанные с предшествующими. Определить, из каких конкретных регионов провинциально-римского ареала шла миграция населения в лесные земли Восточной Европы, пока не представляется возможным. Не исключено, что миграционный процесс не был одноактным.

В нем, по-видимому, участвовали более или менее крупные группы населения из разных регионов пшеворской и, отчасти, вельбарской культур" (С. 113, 115). "...Допустимо предположение о доминировании в составе средневропейского населения, осевшего в севернорусских землях, славянского этнического компонента. В пользу этого говорит вся последующая история населения лесной полосы Восточно-Европейской равнины – имевшие здесь место этногенетические процессы завершились становлением восточно-славянского языка" (С. 116–117).

Обращаясь к культуре псковских длинных курганов (бассейн озер Ильменя и Псковского), В.В. Седов полагает, что ее главным компонентом являлись переселенцы из Средней Европы середины I тыс., прежде всего славяне, а также балты, наложившиеся на местный прибалтийско-финский субстрат. По мнению ученого, "носители культуры псковских длинных курганов именовались кривичи" (С. 127).

Характеризуя тушемлинскую археологическую культуру (середина – третья четверть I тыс.; Смоленское Поднепровье, Полоцко-Витебское Подвинье и смежные земли), В.В. Седов считает, что она сформировалась на основе взаимодействия местных балтов и пришлого средневропейского славянского населения: "...В составе носителей тушемлинских древностей на первых порах должны присутствовать по крайней мере два этноса. Одним из них несомненно были балты. Этническим индикатором второго компонента являются браслетообразные височные кольца, получившие распространение в лесной зоне Восточной Европы в самом начале эпохи средневековья" (С. 137); "появившиеся в тушемлинской культуре браслетообразные височные украшения без каких-либо перерывов продолжали бытовать в лесной зоне Восточно-Европейской равнины до X–XIII вв. включительно, когда их славянская принадлежность достоверна и не вызывает никаких сомнений" (С. 138). В результате инфильтрации в VIII–IX вв. носителей культуры псковских длинных курганов в полоцко-смоленские земли, на территорию тушемлинской культуры, здесь складывается особая, смоленско-полоцкая группа кривичей.

"Вещевые находки провинциально-римских средневропейских типов, фиксируемые в междуречье Волги и Оки, свидетельствуют о том, что миграционные волны середины I тыс. н.э. затронули и эти земли. До этого западные области междуречья принадлежали балтским племенам...

восточную часть его заселяли поволжские финны. Расселение средневропейского населения полностью нарушило культурную жизнь и быт местных племен" (С. 145). "Славянский этнический элемент в составе средневропейского населения, колонизовавшего междуречье Волги и Оки, фиксируется прежде всего находками браслетообразных височных колец с незавязанными (сомкнутыми или заходящими) концами. Они появились в этих землях в V–VI вв. и идентичны тушемлинским" (С. 150).

Переходя к специальной разбору ситуации в Волго-Клязьминском междуречье, В.В. Седов считает, что "в основных местах оседания средневропейского населения финноязычные аборигены сразу вступали в контакты с пришельцами... В результате сформировались единые поселения и могильники с общей культурой второй половины I тыс. н.э." (С. 149), получившей в специальной литературе по этнониму автохтонного населения название мерянской. "Постепенно она распространилась по всему междуречью Волги и Клязьмы. Аборигенная меря все более и более втягивалась в единый этногенетический процесс, который вел к формированию древнерусского населения Ростово-Суздальской земли" (С. 149–150). "В условиях продолжительного славяно-мерянского симбиоза этноним местного поволжско-финского племени – *меря*, по всей вероятности, распространился... на все население междуречья Волги и Клязьмы, и в период становления Древнерусского государства все жители Ростовского края назывались мерей" (С. 150). И в другом месте книги: в XI–XII вв. процесс обрусения меря "достиг финальной стадии" (С. 180).

Не отрицая вероятно рано начавшихся процессов славянизации меря, все же полагаем, что степень их продвинутости для XI–XII вв. в оценке В.В. Седова является завышенной. "Повесть временных лет" достаточно определенно свидетельствует, что в это время меря не рассматривалась как "племя" славянское, славяноязычное, но достаточно однозначно причислялась к "народам" неславянским, вполне определенно ставилась в один с ними ряд. Во вводной части ПВЛ читается: "В Афетовѣ же части съдять русь, чюдъ и вси языки: меря, мурома, весь, морѣдва, заволочская чюдъ, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимѣгола, корсь, лѣтъгола, любь" [5. С. 7–8]; "Се бо токмо словѣнскъ языкъ в Руси: поляне, деревляне, нугородци, полочане, дреговичи съверъ, бужане..., послѣ же же

вельняне. А се суть инии языци (народы. – *М.В.*), иже дань дають Руси: чюдъ, меря, весь, мурома, черемись, морѣдва, пермь, печера, ямь, литва, зимгола, корсь, норома, либь: си суть свой языкъ имуще..." [5. С. 10].

В целом же, по мнению В.В. Седова, "славяне – носители браслетообразных височных колец с сомкнутыми или заходящими концами, осевшие в середине I тыс. н.э. в западных районах Волго-Окского междуречья и междуречья Волги и Клязьмы, в течение нескольких столетий ассимилировали проживавшие здесь балтские и финноязычные племена и стали ядром основной древнерусского населения Северо-Восточной Руси" (С. 154).

В рецензируемой монографии В.В. Седовым предлагается новая точка зрения на появление на исторической сцене так называемых ильменских (новгородских) словен – носителей культуры новгородских сопок, приведшая исследователя к пересмотру ранее развивавшихся им взглядов (о них см.: С. 161–162).

"Около рубежа VII–VIII вв. в Ильменском бассейне формируется культура сопок, которую уже можно с уверенностью рассматривать как культуру летописных словен ильменских. Слагаемыми последней стали местная культура псковских длинных курганов и пока слабо изученные древности типа удомельских, принадлежащие также переселенцам из средневропейского ареала и сохранившие в какой-то степени элементы пашенного земледельческого уклада (утраченного носителями культуры псковских длинных курганов, перешедших к подсечно-огневному земледелию (С. 124). – *М.В.*) До VIII в. эти группы славян проживали чересполосно, при этом доминирующими были племена культуры длинных курганов. Положение резко изменилось с VIII в., когда в результате улучшения климатических условий создались благоприятные условия для развития земледелия, прежде всего пашенного... Население культуры псковских курганов в Ильменском бассейне постепенно освоило этот хозяйственный уклад, в итоге произошло слияние двух групп славян и формирование словен ильменских" (С. 257; подробнее см.: С. 158–165). Созданная ими "культура сопок в IX–X вв. постепенно трансформируется в древнерусскую культуру Новгородской земли. Каких-либо нарушений в эволюционном развитии культуры Ильменского региона в это время не наблюдается" (С. 164).

Если предыдущие главы труда представляют собой совершенно оправданную и необходимую археолого-историческую

интерлюдия к основной теме рецензируемой работы, то четвертый раздел книги посвящен собственно проблеме становления древнерусской народности и факторам, влиявшим на ее сложение. Принципиально важным, на наш взгляд, является следующее высказанное В.В. Седовым базисное положение: "Все поиски прародины древнерусской народности представляются абсолютно бесперспективными. Древнерусский этнос, как и многие другие раннесредневековые этноязыковые образования, был сложным формированием, включавшим в себя несколько различных праславянских группировок. К тому же славянское население, освоившее широкие пространства Восточной Европы, застало в лесной зоне различные финноязычные и балтские племена и славянизировало их. В лесостепной полосе славяне длительное время контактировали с иранскими и тюркскими племенами. В такой ситуации становление древнерусской народности стало возможным только в результате активных интеграционных явлений, которым способствовали и имевшие место передвижения населения" (С. 183).

Одними из таких перемещений стали миграции в VII–X вв. в Восточную Европу довольно многочисленных групп из Подунавья. Материалы по этим раннесредневековым славянским передвижениям впервые в науке обобщены в монографии. Археологически данные миграционные потоки фиксируются распространением выразительного дунайского набора украшений (серьги, лунницы, бусы, круглые медальоны, особого вида перстни и др.), ножей с волютообразными рукоятками, удила специфического типа и т.д. "Картография находок дунайского происхождения и их датировки достаточно надежно свидетельствуют, что в VII–X вв. имели место многочисленные оттоки славянского населения из Дунайского региона. Продвигаясь в восточном направлении, группы дунайских переселенцев оседали в различных местностях Восточно-Европейской равнины, в землях, уже освоенных славянами... Инфильтрация дунайских славян продолжалась, очевидно, около двух – трех столетий" (С. 200–201).

Отдельного внимания заслуживают наблюдения В.В. Седова, непосредственно связанные с проблемой проникновения христианства в восточнославянские земли в период до крещения Руси. Поскольку ресурсы письменных и лингвистических источников для реконструкции этого про-

цесса в настоящее время в значительной мере исчерпаны, важное значение приобретают постоянно пополняющиеся данные археологии.

Во-первых, "с инфильтрацией среднедунайских славян, весьма вероятно, следует связывать... распространение на Восточно-Европейской равнине металлических нагрудных крестов с так называемым грубым изображением распятого Христа. ... Истоки этих крестов находятся в Великой Моравии. ... Первые находки таких крестов на Руси датируются временем до официального принятия христианства" и связаны с Новгородом и городищем Заречье в Киевском Поднепровье, отождествляемым с летописным Новгородом Малым (С. 200). Думаем, впрочем, что при интерпретации этих археологических артефактов следует считаться с возможностью (ср. географию распространения) отнесения их (или их части) на счет торговых контактов со среднедунайскими землями.

Во-вторых, именно с расселением дунайских славян необходимо увязывать распространение до крещения Руси в регионе полоцко-смоленских кривичей и в Новгородской земле обряда ингумации в курганах, в особенности труположений в подкурганых могильных ямах. "В Среднем Подунавье такая обрядность (правда, бескурганная) была весьма характерна для славянского населения с VII–VIII вв." (С. 203) (см. также [6]). Поэтому В.В. Седов не соглашается с многочисленной группой исследователей, придерживающихся положения о распространении на указанных восточнославянских территориях обряда ингумации под влиянием христианской религии.

В целом "дунайские славяне, расселившиеся в различных местностях Восточной Европы, оказали несомненное воздействие на процесс нивелировки диалектного многообразия, сложившегося на первом этапе в результате освоения этих земель различными праславянскими племенными группировками. ... Прилив славянского населения из Дунайского региона сыграл существенную роль в консолидации славянского населения Восточно-Европейской равнины, которая завершилась формированием древнерусской народности" (С. 204).

Среди других факторов консолидации древнерусской народности В.В. Седов специально останавливается на роли: состоявшего из различных этнических компонентов "дружинного сословия" и его культуры; развития внутренних торговых связей и формировавшегося купечества;

возникновения сети городов, роста городского населения, не связанного с местными племенными традициями, и единообразной для всей территории домонгольской Руси городской культуры; распространения христианства, цементирувавшего древнерусскую народность; создания и упрочения единого государства. "Все названные интеграционные явления, – подчеркивает исследователь, – не следует рассматривать изолированно. Они действовали комплексно, в самом тесном взаимодействии" (С. 218).

"Единство территории, единство материальной и духовной культуры и единство языка – наиболее существенные характеристики этноса. Рассмотренное выше позволяет утверждать, что в X–XII вв. в пределах территории Древнерусского государства протекал довольно активный процесс этноязыковой интеграции разнплеменного славянского населения (в его составе были и славянизированные финские и летто-литовские племена). В результате формировался единый этнос – древнерусская народность" (С. 219). Важным показателем ее сложения явилось фиксируемое источниками наличие единого, "русского" самосознания у восточных славян.

Пятый раздел монографии посвящен диалектно-историческому членению древнерусской общности. В первую очередь В.В. Седов обосновывает следующие важные общие положения. "Нередко в исторических трудах *земли* и *княжества* являются взаимозаменяемыми терминами. Между тем это совсем не так, они несут различную нагрузку и их нельзя не разграничивать. Земли – это историко-территориальные образования. Одни сохраняли политическое единство в течение длительного времени, другие неоднократно дробились на более мелкие княжества... Однако в этой ситуации все же целостность историко-географических образований – древнерусских земель сохранялась... Подобными единицами Древней Руси были Новгородская, Ростово-Суздальская, Киевская, Черниговская, Полоцкая, Смоленская, Галичская и Муромо-Рязанская земли" (С. 230). Кроме того, племенные образования "Повести временных лет" представляли собой неоднозначные единицы. "Так, поляне, древляне, волыняне и дреговичи были территориальными новообразованиями. Они оформились в VI–IX вв. в результате территориального обособления отдельных групп праславянского племени образования дулебов. С другой стороны, корни кривичей, словен ильменских и руси уходят в праславянский период истории. Это

были этнографические и, скорее всего, диалектные образования раннесредневекового славянства. И оказывается, что территории древнерусских земель-волостей XII в. теснейшим образом связаны не с новообразованиями, а с этнографическими группами восточного славянства, история которых уходит в праславянскую эпоху" (С. 233).

Анализируя историко-археологическую ситуацию каждой исторической земли Древней Руси, ученый приходит к выводу о том, что ядро Новгородской земли составило племенное образование ильменских словен; Псковской – псковская ветвь кривичей; Ростово-Суздальской – славяне – носители браслетообразных височных колец, первоначальный этноним которых не зафиксирован, но позднее они именовались мерей; Смоленской и Полоцкой – соответствующая отрасль кривичей (при этом вопрос о том, почему ее территория "членится на две историко-географические области, в то время как другие древнерусские земли соответствовали этноплеменным территориям восточного славянства, археологически пока не поддается разрешению", с. 240); "имеются все основания отождествлять этнографическую территорию расселения дулебской... этноплеменной группировки восточного славянства с исторической Киевской землей" (С. 244), в которую входили Туровская (дреговичи) и Волынская волости; Галичская земля сформировалась на этнографической территории белых хорватов; основу населения Черниговской земли составляли потомки диалектно-племенного образования, представленного в VIII–IX вв. волынцевской культурой; "отдельной Переяславской земли...", судя по всему, не было. Сложилось лишь княжество – политическое образование, как и многие другие не соответствующее этнографической дифференциации восточного славянства" (С. 249); основу населения Муромской земли составили славяне – носители браслетообразных височных колец и ассимилированные ими финноязычные аборигены, а Рязанской – "волынцевцы" и славянизированное местное финское население.

"Изложенное позволяет утверждать, что исторические земли Древней Руси формировались на основе этноплеменных образований славян, восходящих к I тыс. н.э., в ряде случаев и к более раннему времени. Земли Древней Руси были такими же образованиями, как Саксония, Бавария, Фризия или Тюрингия. В отличие от по-

следних, они именовались не по этнонимам, а по названиям отдельных городов" (С. 252–253).

В связи с последним суждением полагаем важным учитывать следующий вывод Б.Н. Флори, имеющий прямое отношение к тематике труда В.В. Седова: на германских землях «отдельные крупные княжества – земли, такие как "Саксония" или "Бавария", формировались на базе старых племенных союзов... Здесь сохранялись не только традиционные этнонимы, но и сознание преемственной связи между средневековой "землей" и старым племенным союзом. Подобную же ситуацию можно наблюдать и в Скандинавии. Даже в соседней с Древней Русью Польше, где таких мощных традиций племенного самосознания, судя по всему, не было, некоторые из средневековых "земель" сохранили старые племенные названия. Как представляется, столь радикальное исчезновение на восточнославянской почве традиционных племенных этнонимов может быть объяснено (от обратного) не имеющим явного отражения в нарративных источниках распространением сознания принадлежности всего восточного славянства к одной народности – "Руси"» [7. С. 11–12].

В отдельном параграфе В.В. Седовым анализируются исторические условия сложения псковского, новгородского, смоленско-полоцкого, владими́ро-суздальского и других восточнославянских диалектов/говоров.

В последней главе монографии кратко рассматривается проблема дифференциации древнерусской народности и условий возникновения каждого из трех современных восточнославянских народов.

В середине XIII–XV в. в силу исторических причин восточнославянский ареал оказался расчленен в политическом и культурном отношениях; процессы интеграции, прежде имевшие место в условиях единства экономики, быта и культурной жизни восточного славянства, были полностью приостановлены. Древнерусский этнос прекратил свое поступательное развитие, началась его дифференциация.

"Достаточно определенно можно утверждать, что становление белорусов как особого славянского этноса было обусловлено не племенными особенностями славянского населения, расселившегося в Двинско-Верхнеднепровско-Неманском регионе, но политическими образованиями внутри Древней Руси, не входящими этой территории в состав Великого Литовского государства, а совсем иными причинами" (С. 281). Первостепенное и определяющее

значение, по давно обосновываемому (см.: [8]) исследователем мнению, имело то обстоятельство, что белорусы сформировались на территориях, на которых ранее протекал процесс балто-славянского взаимодействия, симбиоза с последующей славянизацией балтов.

До проявления славян на территории будущей Белоруссии проживали балтоязычные племена; затем "двинско-верхнеднепровский регион был занят крупным массивом средневропейских переселенцев, в дальнейшем на эту территорию подселились кривичи из ареала культуры псковских длинных курганов. Южнобелорусские земли были колонизованы с юга дреговичами и волынянами, вышедшими из среды совсем иной праславянской группировки" (С. 281). Таким образом, основой белорусского этноса "стало славянское население, ранее пережившее балто-славянский симбиоз" (С. 282).

Труд В.В. Седова является историко-археологическим и не ставит в качестве специальной научной задачи исследование такой фундаментальной для определения категории "этнос" качественной, но весьма часто трудноуловимой, особенно для предшествующих эпох, величины, как этническое самосознание. Поэтому существенным нам представляется привести суждения Б.Н. Флори, высказанные им в связи с балто-славянскими "белорусскими" построениями В.В. Седова и обратившего внимание именно на данную сторону темы: "...При изучении процессов развития этнического самосознания недостаточно существования определенных особенностей материальной или духовной культуры той или иной общности людей, заимствованных у этнического субстрата, важно, чтобы эти отличия осознавались населением и осмыслялись им как этнообразующие признаки, отличающие данный этнос от других, соседних. Лишь в этом случае можно было бы ставить вопрос о серьезном воздействии балтского субстрата на этногенез белорусского народа, но подобная работа пока, насколько известно, не проделана. Сказанное может быть с некоторыми конкретными уточнениями отнесено и к вопросу о роли этнического субстрата в формировании других восточнославянских народностей" [7. С. 10].

Привлекая для разрешения проблемы формирования украинского языка и народности до того не использовавшийся археологический материал, В.В. Седов считает, что "данные археологии по истории освоения славянами территории от Днепра

до Дона допускают мысль о том, что ядром формирующейся после татаро-монгольского разорения украинской народности стала этнодиалектная группировка восточного славянства, представленная в самом начале средневековья пеньковской культурой, соотносимой с историческими антами" (С. 284); "к этногенезу украинской народности подключились и потомки дулебского племенного образования" (С. 285). "Уже в период древнерусской государственности наблюдается постепенное перемещение населения, вышедшего из антской группировки, в северном направлении... Потомки антов активно проникали в области, принадлежавшие дулебской группе восточного славянства... В эпоху становления украинского этноса эта буферная зона (ныне примерно территория полесско-украинских говоров), по-видимому, стала цементирующим звеном двух основных древнерусских диалектов, которые составили основу украинского языка" (С. 286).

Вместе с тем ученый категорически подчеркивает, вполне очевидно полемизируя с точкой зрения, имеющей широкое хождение в современной украинской историографии: "Из сказанного никак не следует вывод о начале становления украинского этноса в I тыс. н.э. Допустима мысль лишь о зарождении в части славянского мира некоторых диалектных особенностей, ставших в условиях раздробленности восточного славянства XIV–XVI вв. характерными для формирующегося украинского языка" (С. 285).

"Более сложным и продолжительным был процесс становления великорусской народности... Цементирующим стал московский диалект средневеликорусских говоров... В состав формирующегося великорусского языка вошли диалекты северной ветви восточного славянства и древнерусские говоры, сложившиеся на основе говоров потомков русов и ставшие ядром современного южновеликорусского наречия. Процесс единения их в языковую общность был длительным и осуществлялся в несколько этапов" (С. 286–287); завершился он к XVI–XVII вв.

Весь фактический трехтомник В.В. Седова, включающий [1; 2] и завершающей

частью которого является рецензируемая монография, содержащая многие новаторские наблюдения, построения и обобщения, представляет собой цельное авторское произведение, этапное для отечественной палеославистики.

© 2000 г. М.А. Васильев

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Седов В.В. Славяне в древности. М., 1994.
2. Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.
3. Васильев М.А. Рец. на: В.В. Седов. Славяне в древности. М., 1994 // Славяноведение. 1996. № 4; Васильев М.А. Рец. на: В.В. Седов. Славяне в раннем средневековье. М., 1995 // Славяноведение. 1997. № 2; Васильев М.А. Новые исследования о древних славянах // Живая старина. 1997. № 1. С. 50.
4. Седов В.В. Русский каганат IX века // Отечественная история. 1998. № 4; Седов В.В. У истоков восточнославянской государственности. М., 1999. С. 8–81.
5. Повесть временных лет / Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Д.С. Лихачева. Под ред. В.П. Ариановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996.
6. Седов В.В. Трансформация погребального обряда восточных славян под воздействием христианства // Славяне и их соседи: Сборник тезисов XIX конференции памяти В.Д. Королюка. Славянский мир между Римом и Константинополем: Христианство в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в эпоху раннего средневековья. М., 2000.
7. Флоря Б.Н. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху средневековья – раннего Нового времени // Россия – Украина: История взаимоотношений. М., 1997.
8. Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970.

E. KOWALSKA. Przeżyć, aby wrócić! Polscy zesańcy lat 1940–1941 w ZSRR i ich losy do roku 1946. Warszawa, 1998. 282 S.

Е. КОВАЛЬСКАЯ. Выжить, чтобы вернуться! Польские ссыльные 1940–1941 гг. в СССР и их судьбы до 1946 г.

Несмотря на появление в последние годы в польской историографии ряда публикаций, касающихся темы депортаций 1940–1941 гг., проблемам судеб поляков, которых насильственно выселяли из восточных районов Польши в глубинные районы СССР, не уделялось должного внимания. Это объяснялось тем, что долгое время публикации польских, в том числе эмигрантских, историков основывались главным образом на разнообразных по содержанию, но все же в силу естественных причин односторонних польских документальных материалах. Кроме того, первоначально историография решала более общие проблемы: обрисовывалась картина депортаций, анализировалась политика СССР по отношению к польскому населению на присоединенных Советским Союзом восточных территориях II Речи Посполитой, выделялись проблемы ссыльного населения в контексте советско-польских отношений 1939–1946 гг. и т.д.

Благодаря включению в последние годы в научный оборот части документов из архивов России у польских и российских историков появилась возможность уточнения, а иногда и переоценки ранее существовавших представлений (особенно в вопросе количества и размещения депортированного польского населения). Переход к новому этапу в исследованиях позволил обратиться к гуманитарным аспектам темы – судьбам поляков, подвергшихся депортации из восточных районов страны, присоединенных к СССР в ходе кампании 1939 г., и их ссылке. Подобная постановка проблемы позволяет автору рецензируемой работы польской исследовательнице Е. Ковальской взглянуть на депортации через призму "общественного и индивидуального опыта" ссыльного польского населения (S. 225).

Этим авторским задачам последовательно подчинена структура работы. В первом разделе, в целях "привнесения необходимой исторической дистанции в болезненную для польского читателя тему" (S. 280), автор делает экскурс в мировую историю насильственных переселений народов, особо останавливаясь на опыте царской России и характеризуя сталинскую политику в этом вопросе как его апогей. При этом Ковальская выделяет многовековой опыт применения ссылки в отношении польского народа как уникальный в мировой истории.

Данный исторический контекст служит автору фоном, на котором ставится ряд проблем, связанных с судьбами выславшегося в 1940–1941 гг. польского населения. Так, во втором разделе книги депортации рассматриваются в точки зрения осуществившихся в их ходе политико-административных мер: речь идет о принятии советскими властями ряда законодательных актов, а также проведении многочисленных политических и экономических мероприятий, включая освоение хозяйств, домов и квартир выселявшихся поляков семьями советских аппаратчиков, направлявшимися в эти районы жителями восточных частей Украины и Белоруссии, а также переселенцами, прибывавшими согласно советско-немецкому соглашению об обмене населением.

Вслед за принятием властями постановления о высылке для депортируемых поляков наступал первый этап пути на Восток, вглубь СССР – это погрузка и дорога в эшелонах, а затем второй этап – проживание в поселках для спецпереселенцев. В этом разделе Ковальская поднимает проблему факторов, которые влияли на возможность выживания в экстремальных условиях ссылки. Особое

внимание автор уделяет вопросам адаптации переселенцев к новым бытовым, климатическим и общественным условиям существования. Ковальская подчеркивает, что это явление не носило исключительно негативного характера. Оно не означало примирения ссыльных со сложившейся ситуацией и принятия в качестве нормы ряда поступков, диктовавшихся условиями жизни на поселении. При этом свою важнейшую задачу Ковальская видит в отслеживании "положительных сторон коллективного ссыльного опыта", который фиксируется в работе наравне с отрицательным. Таким образом, автор невольно включается в ставшую уже хрестоматийной для российского читателя дискуссию по оценкам лагерного (в нашем случае – ссыльного) опыта как полностью негативного (В. Шаламов) и этого же опыта как своеобразной школы жизни в экстремальных условиях (А. Солженицын). "Известно, в какой степени ссылка изменила этих людей, что у них отняла, но открытой остается проблема, дала ли она им что-либо и что именно дала?" – ставит вопрос автор [1]. Не давая окончательного ответа на поставленную ею же проблему, Ковальская в то же время отказывается описывать картину депортаций исключительно как историографический мартиролог, скрупулезно собирая свидетельства более полного и всестороннего опыта польской ссылки.

Третий раздел книги посвящен теме возвращения из ссылки на родину. Этапы этого возвращения, представленные через призму судеб поляков, начинаются амнистией 1941 г.; за нею следует образование в СССР различных польских представительских структур, связанных как с правительством Польской Республики, так и с Союзом польского патриотов, а затем – репатриация польского населения в Польшу. С точки зрения оценки реализовывавшейся советским руководством модели массовых переселений народов польский опыт депортаций и ссылки можно рассматривать как первый ее провал. "Это также являлось сигналом для других народов, указывавшим на возможность изменения их судьбы в будущем" (S. 226).

Работа Е. Ковальской основана на солидном архивном фундаменте. Это в первую очередь документы из польских и рос-

сийских архивов (Архив Президента Российской Федерации, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный военно-исторический архив, Российский центр хранения и изучения документации по новейшей истории). Проведенный автором тщательный поиск в российских архивах обнаружил существенные брешы в доступных для исследователей материалах. Например, Ковальская указывает на недоступность в фонде НКВД, хранящемся в ГА РФ, материалов по депортации за апрель 1940 г. и май–июнь 1941 г. О судьбе польских ссыльных этого периода можно судить лишь на основе сохранившихся инструкций и партийных документов. Знания о последней волне депортаций (1941) очень скудны. Материалы Военно-исторического архива могут служить в этом случае только как вспомогательные в таких вопросах, как ход депортаций, определение числа депортированных поляков и ряда направлений высылки населения.

Особенностью работы является широкое использование Е. Ковальской в качестве источника мемуарной литературы, работа с которой чрезвычайно трудоемка из-за характерного для нее структурного сходства текста в различных мемуарах, постоянно применяемой авторами автоцензуры и сложности использования данного вида литературы для широких исторических обобщений. И здесь хотелось бы остановиться на некоторых недочетах, которые были допущены, по моему мнению, польской исследовательницей при работе с мемуарной литературой. Зачастую она в своей работе использует обширное цитирование мемуаров в ущерб аналитическому тексту, нарушая тем самым пропорции между разным типом текстами – авторским и цитируемым. Такой метод подачи материала негативно сказывается на связности содержания ряда страниц в монографии (что особенно усиливается к концу книги, см. S. 214–224).

Ценность работы Е. Ковальской состоит не только в достигнутых ею научных результатах, но и в том, что она открывает дальнейшие перспективы для работ в этом направлении не только для польских, но и российских исследователей. Соответствующего изучения ждут вопросы, оставило ли пребывание поляков в ссылке в 1940-е годы

какие-либо следы в их местном окружении? сохранилась ли память о польском пребывании там среди русского населения? можно ли оценить пребывание поляков в глубинных районах СССР в качестве преходящего эпизода в жизни этих районов? Все эти проблемы требуют дальнейшего научного ответа.

© 2000 г. Л.Б. Милякова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kowalska E. Przesiedlenie obywateli polskich z ziem wschodnich RP w głąb ZSRR w latach 1939–1941, losy przesiedleńców do roku 1946 // *Dzieje Najnowsze*. 1997. № 3. S. 169.

Славяноведение, № 5

Г. КОРОБЬИН, Н. МИХАЙЛОВА. Исправление богослужбных книг. Исторический обзор за период с XV до начала XX века // Богослужбный язык Русской Церкви: История. Попытки реформации. Сб. статей. М., 1999. 411 С.; ил. – 9–70 С.

В 1999 г. в издательстве Сретенского монастыря вышел сборник "Богослужбный язык Русской церкви: История. Попытки реформации". Как видно из самого названия, сборник посвящен теме, актуальность которой была осознана еще в начале XX столетия и которая продолжает оставаться актуальной и на рубеже XX–XXI вв. Сборник включает в себя около 30 публикаций и состоит из пяти частей. В первой части рассматривается история исправления богослужбных книг с XV до начала XX в. Во второй части представлены статьи и дискуссии по вопросу богослужбного языка, проходившие в начале века. Эти публикации дополнены "Отзывами епархиальных архиереев" по вопросу богослужбной реформы, помещенными в Приложении I. Третья часть сборника содержит архивные документы Поместного Собора 1917–1918 гг. по проблеме богослужбного языка и отражает порядок их прохождения в соборных и церковных инстанциях. Четвертая часть книги посвящена реформам богослужения в первой трети XX в., а также аналогичным явлениям, имеющим место в наши дни. В пятой, заключительной, части книги помещены публикации различного жанра, авторы которых – священники и миряне – обосновывают недопустимость русификации текстов, используемых при богослужении в Русской Православной Церкви. Приложение II посвящено деятельности Российского Библейского общества.

Сборник открывается статьей Георгия Коробьина и Наталии Михайловой "Исправление богослужбных книг. Исторический обзор за период с XV до начала XX века" (С. 9–70). Положение в сборнике и солидный объем статьи позволяют воспринимать ее как программную, а respectable заголовок и приведенный перечень разделов (С. 9) обещают читателю если не подробное изложение материала (слишком обширна тема), то, по крайней мере, тщательный, глубокий анализ проблемы, возможно, с привлечением каких-то новых документов (так как по данной теме написано уже немало). Как известно, о научной ценности статьи или книги можно судить по библиографическим ссылкам. Библиографический список литературы, использованной в рассматриваемой статье объемом 62 с., содержит 13 названий. Большая часть цитированной литературы представляет собой общедоступные издания 1993–1997 гг., а также 1970 г., адресованные широкому кругу читателей, в том числе справочного и публицистического характера. Имеются две ссылки на одну и ту же единицу хранения ГАРФ, которая была введена в научный оборот по меньшей мере уже в 1994 г. А.Г. Кравецким в его статье "Проблема богослужбного языка на Соборе 1917–1918 годов и в последующие десятилетия" (ЖМП. 1994. № 2. С. 68–87), также цитируемой авторами.

Обратимся к тексту статьи. Мы будем анализировать преимущественно метаязык –

язык, используемый для описания некоторого языка (в данном случае – церковнославянского), а в содержательном отношении – лингвистическую сторону вопроса (не касаясь, за редким исключением, богословской стороны) и логику изложения материала. В первом абзаце статьи читаем: церковнославянский язык в России «был предназначен для служения Богу, стал языком славянской письменности (книжности), а разговорный использовался только в быту. При таком сосуществовании книжного и разговорного языков они воспринимаются церковным народом как ОДИН ЯЗЫК (выделено авторами. – Ф.Л.), но области их применения четко разграничены. Высокий язык предназначен для служения Богу, а низкий, разговорный, употреблялся для нужд человеческих в быту и государственной жизни. Естественно, что в такой «языковой ситуации» потребности в переводе с церковно-славянского на русский не было, и такие переводы просто невозможны» (С. 9). Хотя здесь и нет ссылки, однако ясно, что авторы придерживаются концепции, разрабатывавшейся Б.А. Успенским, согласно которой для языковой ситуации России в XI–XVI вв. была характерна *диглоссия* – сосуществование двух языковых образований, сферы функционирования которых находятся в отношении дополнительного распределения (см.: [1; 2]). К слову сказать, справедливость такой интерпретации для многих лингвистов не очевидна (о критике постулатов концепции Успенского см., например [3]). Но коль скоро авторы мыслят в категориях социолингвистики, то весьма странно выглядит в тексте статьи общепринятый социолингвистический термин «языковая ситуация», взятый в кавычки. В приведенном пассаже кавычки могут означать лишь одно: данный термин является чуждым для словоупотребления, для языкового сознания авторов. Возникает естественное предположение: может быть, авторы используют какую-то свою, особую терминологию? Действительно, на с. 12 обнаруживаем лексему «несродственность», обладающую, по всей видимости, статусом термина. Далее, на той же странице, вводится термин «прилог»; неясно, учитывали ли при этом авторы неизбежность ассоциаций с омонимичным термином аскетики. Во всяком случае, вводимый термин обладает отрицательной коннотацией, что противоречит требованию стилистической нейтральности терминологии. Характерно употребление термина «малороссийский» (С. 60), обремененного политическими коннотациями.

Обращает на себя внимание употребление термина «двуязычие» в значении «диглоссия» (С. 10). Несмотря на тождественность внутренней формы этих двух терминов, в лингвистике сложилось вполне определенное, нетождественное употребление каждого из них. Некоторое недоумение вызывает фраза на с. 13: «...сначала на русский язык перевели Библию, а затем стали издавать молитвословы и сборники канонов на русском языке» (курсив мой. – Ф.Л.). Нам не известны сборники канонов на русском языке. Речь идет, по всей видимости, об изданиях на церковнославянском языке, набранных русским гражданским шрифтом. Если это так, то налицо смешение понятий, которое вряд ли может быть извинительным в статье, посвященной языку. Наконец, на с. 20. идет речь о *полугласных звуках*; между тем, в современной русистике и славистике этот неточный термин давно не употребляется: говорят обычно о *редуцированных* или же *сверхкратких гласных*. Кроме того, говорить о редуцированных применительно к XV–XVI вв. не вполне корректно.

Впрочем, несмотря на наличие указанных погрешностей, статья содержит ряд небезынтесных оригинальных положений. На с. 19–20 говорится о существовании уже в XV–XVI вв. «части церковного общества, которая **желала полностью порвать с Вселенским Православием** (выделено авторами. – Ф.Л.), нарушить традиционно и неизменно существовавшую связь Русской Церкви со всеми остальными Православными Церквями. Чтобы нарушить традицию, нужно непременно внести что-то новое. И в этом смысле те, кто так яростно боролся за «право русских на самоопределение», несли в себе этот дерзостный и бесчинный заряд обновленчества, хотя и прикрывались словами о сохранении мнимой старины». Далее, после изложенного в двух фразах случая с митрополитом Геронтием, очевидно, как примеры нововведений, выгодных для определенной части церковного общества, указываются *хомовое пение* и *многогласие*. Однако необходимо отметить, что, вопреки мнению авторов, хомовое пение возникло не в XV–XVI вв., как это указывается в статье, но непосредственно восходит к произношению эпохи до падения редуцированных. «Сохранение этого произношения в пении обусловлено консервативностью церковных распевов – когда после падения редуцированных в чтении сократилось число слогов, певческая традиция, в которой со-

крашение слогов привело бы к искажению мелодии, разошлась с традицией чтения. В певческой традиции законсервировалось старое книжное произношение еров (т.е. редуцированных. – Ф.Л.), т.е. поется *носимо* вместо *носимъ*, *есте* вместо *есть*, *Сопасо* вместо *Спасъ* и т.д. Следует оговориться, что произношение [о], [е] на месте старых еров зависит от конкретного распева, т.е. в одних случаях поется *денесе*, в других *денесь*, в третьих *днесъ* и т.п." [1. С. 115–116], именно отсюда, кстати, взяты два из четырех приводимых авторами примеров. Сама же мысль о связи хомового пения и многогласия со стремлением определенных кругов замкнуть Русскую Церковь в себе весьма нетривиальна; остается сожалеть, что авторы не привели аргументов, подкрепляющих эту мысль.

Рассуждения авторов относительно слов *уд* и *член* (С. 38–39) выглядят довольно странно. Авторы полагают, что в старославянском было слово *член*; между тем старославянский язык традиционно определяется как язык определенного корпуса текстов, и если в этих текстах указанное слово не встречается – а об этом свидетельствует "Старославянский словарь" (М., 1994), – то нет никаких оснований говорить, что оно имело в старославянском языке. Что касается вероятности ассоциирования слова *уд* со словом *узы*, то эта вероятность (применительно к старославянскому периоду) равна нулю, так как у этих слов нет ни одного общего звука: в первом слове был гласный [у], во втором – [ж] (о-норовое).

Утверждение, что буквализм переводов ведет свое начало от свв. Кирилла и Мефодия (С. 28), требует внесения определенных корректив. Перевод святых братьев был *пословным*, т.е. одному слову (с относящимися к нему артиклем, предложением или вспомогательным глаголом) греческого *текста* в большинстве случаев соответствовало одно слово славянского текста; но он не был *дословным*: одному и тому же слову греческого языка далеко не всегда соответствовало одно и то же славянское слово (см.: [4]). Не совсем понятно также негативное отношение авторов к *творчеству* переводчиков (С. 29). Авторы, вероятно, полагают, что если при переводе последовательно соблюдать принцип буквализма, то не будет необходимости вносить в перевод что-то личное, брать на себя какую-то ответственность, так как перевод будет произведен автоматически.

Однако Е.М. Верещагин в своей монографии, ссылка на которую дается выше, показывает, что в переводах солунских братьев имелось немало *персональных* (личностных) элементов, а именно: разъясняющие добавления слов; переводы с немотивированными переводящим языком переменами сообщаемой текстом информации; относительно произвольные перестройки структуры фраз; случаи "исправления" (прояснения) греческого источника; перифразы; учет широкого контекста; случаи неадекватных решений переводчиков. Персональные элементы относятся к области переводческого *искусства*, а не переводческой *техники* [4. С. 24–34]. Вряд ли стоит идеализировать методику перевода, но предполагающую участие живой человеческой личности. Вообще же по поводу ссылок на деятельность свв. Кирилла и Мефодия следует отметить, что здесь имеется гораздо больше неясностей, чем может показаться при чтении популярных пересказов (см.: [5]).

Достоин всяческого сожаления некритичное воспроизведение авторами популярного тезиса, согласно которому на церковнославянском языке "создается произведение только с **возвышенным религиозным содержанием**" (выделено авторами. – Ф.Л.) (С. 11). Общеизвестно, что в Древней Руси церковнославянский язык был языком не только богослужебных текстов, но и языком летописей, переводимых с греческого юридических текстов, вообще обслуживал всю культурную сферу (здесь имеется в виду не только *стандартный*, в терминологии В.М. Живова, церковнославянский, но и *гибридный*, с ослабленной нормой). Другое дело, что вся древнерусская литература была сотериологична и эсхатологична. Согласно Б.А. Успенскому, во второй половине XVII в. происходит трансформация церковнославянско-русской диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие, о чем, в частности свидетельствует «появление пародий на церковнославянском языке. Со второй половины XVII в. такие тексты становятся более или менее обычным явлением. При этом пародийное использование церковнославянского языка может сочетаться с пародированием церковной службы. Примером может служить "Служба кабаку"... В течение XVIII в. создается целая литература пародийных акафистов, пародийных молитв и т.п. Эта литература образует определенную традицию, которая явно связана с семинарской средой, т.е. с той

средой, где церковнославянский язык мог употребляться в качестве разговорного» [2. С. 103]. О пародийном употреблении церковнославянских выражений семинаристами и духовенством писал более шестидесяти лет назад Г.П. Федотов: «...нельзя не коснуться одного культурного (или антикультурного) явления, которое давно уже, медленно, но верно, подрывает эстетическую ценность славянского языка. Я имею в виду так называемый семинарский анекдот или семинарский жаргон. Соль заключается в том, что славянский текст применяется к низменному, житейскому употреблению и сразу приобретает комический характер. "Блажен муж, иже не иде – сидит к каше ближе": такова типическая схема. Бесконечно число этих семинарских словечек, присказок, поговорок, которые в ходу далеко не в одной церковной школе – старой бурсе с ее грубыми нравами, – но во всех слоях "духовного" сословия. Во всех монастырях, иерейских домах и даже владычных покоях семинарский анекдот царит. Люди, плененные красотой церковного быта, как Лесков, пускают эти анекдоты в литературу, в светское общество, которое, с некоторым брезгливым недоумением, вовлекается также в эту опасную игру со святыней» [6]. Обиходное цитирование славянского текста Священного Писания и церковной службы духовенством и семинаристами имеет место и в наши дни.

Как об установленном факте говорится в статье о сожжении перевода Пятикнижия *по решению Святейшего Синода* (С. 33). Однако вот что пишет об этом св. Филарет Московский, которого авторы, без сомнения, уважают, хотя и относятся критически к некоторым сторонам его деятельности: "Что касается до... сожжения нескольких тысяч экземпляров перевода пяти книг Моисеевых, напечатанного Библейским Обществом... нельзя сего вспомнить без глубокой скорби. Это темное пятно на том, кто выдумал сию меру и своею необдуманною ревностью увлек других. Но пятно сие не падает на духовное начальство. *Св. Синод не составлял определения о сем* (курсив мой. – Ф.Л.). В переводе Пятикнижия не было ничего такого, что заслуживало бы такую строгую меру. Он пострадал мученически" (цит. по: [7]).

Наконец, нельзя оставить без внимания замечания авторов относительно Поместного собора 1917–1918 гг. Авторитет собора, восстановившего каноническую форму правления в Русской Церкви, не

нуждается в защите, и оскорбительные высказывания авторов по поводу созыва и ведения собора остаются на их совести. Тем не менее, считаем нужным напомнить, что, строго говоря, Церковь не нуждается в санкции светской (пусть даже христианской) власти на созыв собора. Утверждение обратного однозначно определяет отношения Церкви и государства как *цезарепанизм*, который, как и папоцезаризм, не свойствен православию. Подчинение Церкви государству в Синодальный период было, как известно, грубым нарушением церковных канонов.

Статья содержит еще немало заслуживающих внимания мест, однако рассмотренного достаточно, чтобы составить общее представление. При анализе мы исходили из предположения, что перед нами *научная* статья: в пользу такого предположения говорило ее название, вступительная часть и общая структура. Однако, как показал проведенный разбор некоторых фрагментов статьи, нельзя считать, что ее научный уровень (степень выверенности терминологии и строгости аргументации) соответствует серьезности заявленной темы. Впрочем, вполне возможно, что данная статья и не замышлялась как научная. Тогда предъявляемые нами претензии необоснованны. Это нетрудно проверить. Достаточно проанализировать структуру и стиль статьи. Если это научная статья, то она должна обладать четким планом (это имеется), содержать ссылки на используемую научную и иную литературу и на первоисточники анализируемых текстов (с этим, как мы видели, не вполне благополучно: отсутствуют ссылки на Б.А. Успенского, не указаны полные выходные данные Триодей, отредактированных комиссией архиепископа Сергия), не должна изобиловать штампами нетерминологического характера, содержать экспрессивно-оценочную или разговорную лексику. Приведем в качестве примеров несколько фраз и словосочетаний для того, чтобы выяснить, как выполняется (или же не выполняется) последнее из требований к научной статье: "проблема языка... изначально имела характер внецерковной пропаганды" (С. 9); "...язык богослужения... становится удобной мишенью для критики и разного рода нападков" (С. 11); «...под исправлением книг подразумевалось не их "обновление", или, от чего нас, Боже, сохрани, перевод на разговорный язык...» (С. 12); "...[Б.И. Сове] использует хорошо известный прием из арсенала научного мошенничества..." (С. 18); "пропаганда

реформаторской идеологии" (С. 18); «Суемудры такого рода "поправки" в текст вносили, конечно, не из-за злого умысла...» (С. 21); "противники церковнославянского языка... развернули борьбу... вопия о праве писать на простом разговорном языке и глумясь над теми, кто ратовал за чистоту русского языка..." (по поводу полемики начала XIX в.) (С. 32); "мы... не склонны относиться к этому с таким же олимпийским спокойствием..." (С. 56) и т.д.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что перед нами не научная статья, а публицистическая, стилизованная под научную. Тогда становятся вполне понятными и озадачивающая поначалу неосведомленность авторов в тех областях, о которых они рассуждают, и отсутствие надлежащей аргументации для подкрепления своих тезисов, и неаккуратность в ссылках на литературу вопроса и источники, и общий тон и язык статьи: публицист не обязан быть логичным, он воздействует не столько на разум, сколько на чувства, стремится не привести читателя к определенному выводу, тщательно и непредвзято рассматривая все pro et contra, но вызвать эмоции, ссылается на авторитеты, будучи не в состоянии привести весомые доводы, основанные на основательном знакомстве с предметом.

И все-таки очень жаль, что полемика вокруг церковнославянского языка до сих пор носит газетно-журнальный характер и никак не приобретет статуса серьезного научного спора*. А ведь церковнославянский язык – интереснейший объект для научных исследований. Он должен стать предметом пристального изучения социолингвистики (в том числе теории этнического языка (см.: [8]), психолингвистики, теории языковой нормы, теории коммуникации, теории информации, культурологии, философии языка, причем могут быть использованы достижения и методы теории систем, различных математических теорий. В конце концов, церковнославянский – это, если угодно, и модно, и престижно. И думается, что подобные исследования в самом своем начале принесут больше пользы, чем взаимные обвинения, оскорбления и обиды, в немалой степени вызываемые неспособностью и нежеланием выслушать и услышать оппонента.

* От редакции. По данной проблематике см. публикацию Н.Б. Мечковской "Кирилло-Мефодиевское наследие в филологии Slavia Orthodoxa и языковые вопросы в русском православии XX века" в № 2 журнала "Славяноведение" за 2000 г.

Пока же приходится с сожалением констатировать, что тенденциозность и нетерпимость к чужому мнению, которые не без оснований ставятся на вид сторонникам перевода богослужения на русский язык, в не меньшей степени свойственны и некоторым сторонникам сохранения церковнославянского языка. Однако следует помнить, что острое переживание проблем церковной жизни и уверенность в собственной правоте сами по себе не дают еще права использовать в полемике заведомо несостоятельные, многократно опровергнутые аргументы и не освобождают от обязанности соблюдать корректность в высказываниях по отношению к оппонентам. Хотелось бы надеяться, что перевод полемики в русло научной дискуссии будет способствовать соблюдению этики спора и даст результаты, которые, быть может, заставят нас по-новому взглянуть на церковнославянский язык и на связанный с ним круг проблем.

© 2000 г. Ф. Людоговский

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Budapest, 1988.
2. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.
3. Живов В.М. Язык и культура в России XVIII в. М., 1996. С. 13–68.
4. Верещагин Е.М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.
5. Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменной культуры: Истоки древнерусской книжности. М., 1994.
6. Федотов Г.П. Славянский или русский язык в богослужении / Язык Церкви. М., 1997. Вып. 2. С. 22.
7. Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. СПб., 1899 (Пер. изд.: М., 1997. С. 118).
8. Нецименко Г.П. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале славянских языков). München, 1999.



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Коллектив Института славяноведения Российской академии наук

Редколлегия и редакция журнала "Славяноведение"

Поздравляют наших коллег:

ИВАНОВА Вячеслава Всеволодовича

с избранием действительным членом Российской академии наук;

ВОЛКОВА Владимира Константиновича,

ДЫБО Владимира Антоновича,

НИКОЛАЕВУ Татьяну Михайловну,

ФЛОРЮ Бориса Николаевича –

с избранием членами-корреспондентами Российской академии наук.

Славяноведение, № 5

Чтения памяти Владислава Марковича Иллич-Свитыча (К 65-летию со дня рождения)

28 декабря 1999 г. в Институте славяноведения РАН прошла однодневная конференция, посвященная памяти величайшего компаративиста нашего времени, жизнь которого оборвал трагический случай в его неполные 32 года. Творческая биография В.М. Иллич-Свитыча (1934–1966) насчитывает всего 10–12 лет. За это сверхкороткое время он успел стать основателем не одного направления в языкознании, которые продолжают разрабатывать его последователи. В славистике – это прежде всего к а р п а т и с т и к а с ее перспективами для истории славянских языков (диалектов) и народов [1]. Иллич-Свитычем была пробита брешь в области балто-славянской (индоевропейской) акцентологии [2]. Самым значительным открытием ученого стала н о с т р а т и -

к а – учение об отдаленном родстве больших языковых семей Старого Света [3]. Кроме того, в круг интересов Иллич-Свитыча входили также проблемы славянской этимологии, прародины славян, македонистики и др.

Конференцию открыл академик РАН *В.Н. Топоров* (ИС РАН). В своем выступлении он дал основательный обзор научного наследия В.М. Иллич-Свитыча, показав пути и методы стремительной эволюции ученого, который при изначально достаточно обширной занимавшей его славянской и индоевропейской сравнительно-исторической проблематике, умел целеустремленно концентрировать свой поиск, свои разработки, может быть, в самых важных и нужных направлениях.

В.Н. Топоров причислил В.М. Иллич-Свитыча к группе гениальных лингвистов,

появившихся у нас в 50–60-е годы (В.А. Дыбо, А.А. Зализняк, И.А. Мельчук).

В.Н. Топоров показал, как своими первыми публикациями в 1957 г. (рецензии на книги маститых ученых: В. Махека – о названии растений и Й. Шютца – о географической терминологии) и ярким выступлением на IV Международном съезде славистов в 1958 г. в Москве – по проблеме славянской прародине, 23-летний Иллич-Свитыч заявил о себе как о серьезном ученом, обладающем огромным творческим потенциалом, что и было впоследствии им убедительно доказано.

Выступление *Р.В. Булатовой* (ИС РАН) носило мемориальный характер. Прежде всего она рассказала об интересной родословной В.М. Иллич-Свитыча, прадед которого был польским дворянином, статским советником, родом из Могилевской губернии. Дед его – Владислав Игнатьевич Станиславович (1853–1916) с юных лет посвятил себя революционному движению, за что был лишен дворянства и возможности учиться в гимназии и в юнкерском техническом училище, дважды арестовывался, сидел в тюрьмах. Имел природный писательский дар. Имя деда В.М. Иллич-Свитыча вошло в Большую Советскую энциклопедию 1933 г. (Т. 27. С. 762). Очерк о нем с фотографией помещен в много-томном издании "Деятели революционного движения в России (биобиблиографический словарь)" (1932. Т. II. Вып. 4. С. 1436–1437). Наконец, в солидном продолжающемся издании наших дней "Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь" (М., 1992. Т. II. С. 412–413) Владислав Станиславович характеризуется как "прозаик, журналист, мемуарист, деятель народнического движения".

Далее выступление *Р.В. Булатовой* было посвящено истории посмертной публикации трех томов "Ностратического словаря" В.М. Иллич-Свитыча [3], а также истории борьбы за признание ностратического направления в советском языкознании. Это была трудная борьба, приведшая в феврале 1978 г. после доклада В.А. Дыбо на Бюро Отделения литературы и языка АН СССР к официальному признанию ностратики. Бюро ОЛЯ рекомендовало развивать ностратические исследования, центром которых в то время был Институт славяноведения и балканистики. По-настоящему этим центром был "Ностратический семинар" им. В.М. Иллич-Свитыча, руководимый В.А. Дыбо, и объединявший молодежь, стремившуюся работать на ностратике каждый в своей языковой области. Этот Семинар воспитал

не одно поколение высококвалифицированных специалистов, успешно работающих в рамках школы Свитыча – Дыбо. Из этого Семинара вышли выдающиеся лингвисты: чл.-корр. РАН С.А. Старостин, д-ра наук Е.А. Хелимский, А.В. Дыбо, О.В. Столбова и др.

Далее прозвучали научные доклады. Центральным из них был доклад *В.А. Дыбо* "В.М. Иллич-Свитыч как компаративист"¹ (ИС РАН, РГГУ). Говоря о невозможности даже бегло обозреть результаты работы Иллич-Свитыча в области сравнительно-исторического языкознания и тем более показать в полной мере их значимость для компаративистики в настоящее время, поскольку она возрастает на глазах, фактически меняя научную парадигму компаративистики, докладчик ограничился двумя направлениями научного наследия Иллич-Свитыча. Это прежде всего балто-славянская, точнее – индоевропейская акцентология, где Иллич-Свитычем было доказано генетическое тождество балтийской и славянской именной акцентуации с индоевропейской на основании показаний древнеиндийских, греческого и германских языков и сформулированы правила их соответствия. Эта работа Иллич-Свитыча определила дальнейшее направление исследований по балтийской и славянской акцентологии, доведя степень достоверности выводов в данной области до той, которая была достигнута сравнительно-исторической сегментной фонетикой.

Акцент в докладе В.А. Дыбо был сделан на ностратическое языкознание, создателем которого стал В.М. Иллич-Свитыч. Сама идея глобального сравнения нескольких языковых семей была выдвинута еще в 1903 г. Х. Педерсеном. Но заслуга создания сравнительной грамматики ностратических языков принадлежит Иллич-Свитычу. Работы Иллич-Свитыча дали мощный толчок в сравнительно-историческом изучении почти всех ностратических семей языков. Дыбо называет особенно значительные труды, вышедшие за последние годы. Расширилась сама проблематика изучения отдаленного родства, увеличилось число языковых семей, относящихся к ностратическим (их порядка 10; у Свитыча сравнилось шесть семей).

Интересный доклад сделала *Ж.Ж. Варбот* (ИРЯЗ РАН). Впервые предметом рассмотрения были работы В.М. Иллич-Сви-

¹ Доклад В.А. Дыбо публикуется в этом же номере журнала.

тыча по славянской этимологии. Докладчик прежде всего выявила особенности метода, которому следовал Иллич-Свитыч в своих этимологических разработках, прослеживаемого у него от первых рецензий до собственно оригинальных его публикаций [4]. Это – строгость следования фонетическим закономерностям, внимание к словообразовательному аспекту и тщательный семантический анализ. Характерной чертой этимологических исследований Иллич-Свитыча является также обязательный учет уже имеющихся решений или предположений по рассматриваемой этимологии. Впервые Ж.Ж. Варбот была проанализирована славянская лексика в "Ностратическом словаре", определен ее характер и объяснена необходимость ее введения в ностратические этимологии. Показана связь Свитыча как этимолога-слависта, работавшего с ностратическими этимологиями.

В докладе *Р.П. Усиковой* (МГУ) "Македонские штудии В.М. Иллич-Свитыча" говорилось о пионерских работах Свитыча в области зарождавшейся в 60-е годы македонистики [5]. Его статья о стадиях утраты ринезма на македонском материале пролила свет на эту проблему в общеславянском плане. А македонско-русский словарь с грамматическим очерком был первым пособием по македонскому языку в славистической науке. Р.П. Усикова провела интересное сравнение этого первого словаря с ныне существующими, отметив во многом высокий уровень первенца македонской лексикологии.

В докладе *Г.П. Клепиковой* (ИС РАН) "В.М. Иллич-Свитыч и карпатская диалектография" рассматривался краткий, но весьма важный для славистики период в научном творчестве ученого (конец 50-х – начало 60-х годов), посвященный разработке проблем карпатского языкознания. Именно к этому времени относится формулировка Свитычем гипотезы о "карпатской миграции славян" и интерпретации карпато-украинско-южнославянских лексических параллелей в свете данной гипотезы. Эта концепция являлась стимулом и базой изучения украинских говоров зоны Карпат методами лингвогеографии, что реализовалось в создании специального регионального атласа – "Карпатского диалектологического атласа" (1967). Основной его задачей было детальное изучение таких явлений в украинских говорах, которые имеют соответствия в южнославянских диалектах. Программа-вопросник этого Атласа была составлена В.М. Иллич-Свитычем.

Вторая часть конференции была представлена в основном докладами, относящимися к ностратической проблематике. *А.В. Дыбо* (ИЯЗ РАН, РГГУ) в докладе "К рефлексации анлаутных ностратических носовых согласных" проанализировала известные и новые ностратические сближения с носовым анлаутом. Этот материал подтверждает выдвинутое Иллич-Свитычем соответствия ностр. *ń- ~ алт. *ń-, урал. *п-, и.-е. *i- и ностр. *п- ~ алт. *п-, и.-е. *п. Отмечены новые ряды соответствий: ностр. *п- ~ алт. *пi-, урал. *ń-, и.-е. *п- (таким образом мягкость в урал. может быть рефлексом как старой мягкости, так и старого дифтонга) и (наряду с ранее отмечавшимся соответствием ностр. *п- алт. *п-, урал. *п-, драв. *п-) ностр. *п- ~ алт. *п-, урал. *θ/w-, драв. *θ/w-, и.-е. *θ/w- (с фонетическим распределением: w перед негубным гласным, θ перед губным гласным), и.-е. *ц-. Статус последнего соответствия остается неясным. С.А. Старостин предложил его интерпретацию как ностр. *пw-. Пока неясен статус и вновь реконструируемого драв. *ń- (только в соответствии с ностр. *ń-, но часто ностр. *ń- соответствует драв. *п-).

В своем лаконичном и ярком докладе *С.А. Старостин* (РГГУ) на основе анализа вновь предложенных индоевропейско-алтайских сближений восстановил лабиовелярный ряд для ностратических гуттуральных.

Короткое, но ценное выступление *О.В. Столбовой* (ИЯЗ РАН) было посвящено 39 новым дополнениям к этимологиям Иллич-Свитыча (Т. I), сделанным по материалам чадских языков. Часть этого афразийского материала ранее отсутствовала в ностратических этимологиях.

К.Ю. Решетников (РГГУ) предложил свою заслуживающую внимания интерпретацию известной реконструкции уральского вокализма В.Т. Лыткина, которая у молодого автора кажется более строгой и стройной.

Два доклада были посвящены проблемам акцентологии. *А.С. Касьян* (РГГУ) в докладе "Данные хеттского языка и индоевропейская акцентология. Именные основы" выделил два признака, характеризующие просодические противопоставления в хеттском: I – озвончение согласных в зависимости от его позиции по отношению к ударному гласному и II – написание добавочных гласных. Учитывая, что хеттский материал до сих пор скупо представлен в работах по индоевропейской акцентологии, эту попытку следует

приветствовать как новаторскую. В докладе Ф.Р. Минлоса (ИС РАН) говорилось о случаях колебания ударения (прежде игнорируемые исследователями) у ряда *a*-основ жен. рода в славянском между акцентной парадигмой *a* и другими парадигмами. Объяснение этого явления, возможно, связано с качественной характеристикой гласного корня, что прослеживается в русском диалектном материале.

К конференции был подготовлен ряд экспозиций, содержащих материалы из архива В.М. Иллич-Свитыча: автографы из его личного дела, фотоархива, страницы рукописи "Опыта сравнения ностратических языков", материалы о его родословной, воспоминания людей, близко знавших Иллич-Свитыча, выставка основных трудов Владислава Марковича. И автограф его четверостишья, написанного в рифму на ностратическом и белым стихом – по-русски. Этот стих – своеобразное кредо ученого:

"Язык – это брод через реку времени / Он ведет нас к жилищу ушедших / Но туда не сможет прийти тот, / Кто боится глубокой воды".

© 2000 г. Р.Б.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Иллич-Свитыч В.М.* Лексический комментарий к карпатской миграции славян. Географический ландшафт // Известия ОЛЯ. 1960. Т. XIX. Вып. 3. С. 222–232.
2. *Иллич-Свитыч В.М.* Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентуационных парадигм. М., 1963.
3. *Иллич-Свитыч В.М.* Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (b–ç). М., 1971. [Т. I]; Сравнительный словарь (l–ž). Указатели. М., 1976 [Т. II]; Сравнительный словарь (p–q) по карточкам автора. М., 1984 [Т. III].
4. *Иллич-Свитыч В.М.* К этимологии *морковь* и *тыква* // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. 1. МГУ. М., 1960. С. 16–26; *Иллич-Свитыч В.М.* Чеш. *první* 'первый' – инновация или архаизм // Этимология. Исследования по русскому и другим языкам. М., 1963. С. 81–84; *Иллич-Свитыч В.М.* Русск. диалект. *смоковница*, слав. *stoku* 'инжир' *Ficus carica* // Этимологические исследования по русскому языку. М., 1962. Вып. 2. С. 7–75 и др.
5. *Иллич-Свитыч В.М.* О стадии утраты ринезма в юго-западных македонских говорах // Вопросы славянского языкознания. 1962. № 6. С. 76–88; Македонско-русский словарь / Сост. Д. Толовски и В.М. Иллич-Свитыч. Под ред. Н.И. Толстого. С приложением краткого грамматического справочника, составленного В.М. Иллич-Свитычем. М., 1963.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Dybo V.A.</i> (Moscow). V.M. Illych-Svitych as a Comparatist.....	3
<i>Stykalin A.S.</i> (Moscow). T.G. Masaryk and Russian Literature. On the "Dialogues with Masaryk" by K. Capek	20
<i>Grishina R.P.</i> (Moscow). Komintern, RCP(b) and the Policy of Bulgarian Communist Party Towards the Preparation of the New Armed Revolt in the First Half of 1924: Based on the Russian Archives	29
<i>Serapionova E.P.</i> (Moscow). The Czech Lands, the Czechs and the German Question (1918–1945).....	43
<i>Maltsev L.A.</i> (Moscow). The Novel by G. Herling-Grudzinski "Another World" in the Context of Russian Prose.....	53
<i>Blanar B.</i> (Bratislava). Ideological-Philosophical and Methodological Basis of Anton Bernalak's Linguistical Works.....	66
<i>Shatunovsky G.I.</i> (Moscow). Some Features of Using Indefinites Pronouns in Bulgarian and Russian (Comparative Analysis)	80
<i>Jaklova A.</i> (Ceske Budejovice). The Development of the Notion of Slang in Czech Linguistics	86

COMMUNICATIONS

<i>Aksyonova E.P.</i> (Moscow). G.F. Florovsky About the Slavonic Idea.....	93
<i>Levin-Steinmann A.</i> (Leipzig). The Notion of "Phraseology Mistake" (bl ad frazeologiczny) and the Opportunities of Its Use (Based on the Polish Press)	101

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Vasilyev M.A.</i> В.В. Седов. Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование	109
<i>Milyakova L.</i> B.E. Kowalska. Przeżyć, aby wrócić! Polscy zesłańcy lat 1940–1941 w ZSRR: ich losy do roku 1946	116

<i>Ludogovsky F.</i> Г. Коробьин, Н. Михайлова. Исправление богослужебных книг. Исторический обзор за период с XV до начала XX века Богослужебный язык Русской Церкви: История. Попытки реформации	118
--	-----

SCIENTIFIC LIFE

<i>B.R.</i> The Readings in Memoriam of Vladislav Markovich Ilych-Svitych (to the 65 th Anniversary)	123
---	-----

Технический редактор *В.М. Пахомова*

Сдано в набор 08.06.2000	Подписано в печать 10.08.2000	Формат бумаги 70 × 100 ¹ / ₁₆		
Офсетная печать	Усл.печ.л. 10,4	Усл.кр. отт. 6,0 тыс.	Уч. изд.л. 12,3	Бум.л. 4,0
	Тираж 583 экз.	Зак. 3865		

Свидетельство о регистрации № 0110184 от 4 февраля 1993 года
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская Академия наук, Институт славяноведения и балканистики РАН

Адрес издателя: 117864, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

ПОДПИСКА-2001

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ

1 Российские и зарубежные газеты и журналы

2 Книги и учебники



ПРЕС

1 РОС
И З
ГАЗ
ТОМ И Ж

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Журналы Российской академии наук можно выписать в любом почтовом отделении России по объединенному Каталогу Федерального управления почтовой связи (ФУПС). Академические журналы объявлены в этом каталоге в разделе "АПР"